

# **Борис Акунин**

## **Любовник смерти**

### **(дикенсовский детектив)**

#### **Как Сенька впервые увидел смерть**

Сначала-то её, конечно, не так звали, а обыкновенно, как полагается. Маланья там или, может, Агриппина. И фамилия тоже имелась. Как же без фамилии? Это вон у Жучки, что по двору бегают, фамилии нет, а у человека беспреречно должна быть, на то он и человек.

Но когда Сенька Скорик её впервые увидал, прозвание у неё было уже нынешнее. Никто по-другому про неё не говорил, имени-фамилии не помнил.

А увидал он её так.

Сидели с пацанами на скамейке, перед дерюгинской бакалейкой. Курили табак, лясы точили.

Вдруг подъезжает шарабан: шины дутые, спицы в золотой цвет крашенные, верх жёлтой кожи. И выходит из него девка, каких Сенька никогда ещё не видывал, даже на Кузнецком мосту, даже на Красной площади в престольный праздник. Нет, не девка, а девушка или, правильнее сказать, дева. Чёрные косы на голове венцом уложены, на

плечах шёлковый многоцветный платок, и платье тоже шёлковое, переливчатое, но дело не в платке и не в платье. Очень уж у неё лицо было такое... даже не выскажешь, какое. Посмотришь — и обомлеешь. Ну, Сенька и обомлел.

— Это что за фря? — спросил и, чтоб виду не подать, сплюнул через стиснутые зубы в сторону (дальше всех этак цыкнуть мог, на целую сажень — рот-то с щербиной, удобно).

Проха в ответ: мол, сразу видать, что ты, Скорик, у нас недавно. (Сенька и правда на Хитровке тогда ещё только приживался, недели две как с Сухаревки деру дал). Сам ты, говорит, фря. Это ж Смерть!

Сенька сразу не сообразил, при чем тут смерть. Подумал, у Прохи присказка такая — мол, смерть до чего хороша.

И то — хороша была, не оторвёшься. Лоб высокий, чистый. Брови коромыслицами, кожа белая, губы алые, а глаза — ух, что за глаза. Сенька такие видал на Конной площади, у лошадей туркестанской породы: большие, влажные и при этом будто огоньками светятся. Только у девушки-девы, что из шарабана вышла, глаза ещё лучше были, чем у тех лошадей.

Глядит Сенька на расчудесную особу, глазами хлопает, а Михейка Филин табачную крошку с губы смахнул и локтем в бок: ты, говорит, Скорик,

пялся да меру знай. А то тебе Князь уши обрежет и жрать заставит, как тогда барышника волоколамского заставил. Тоже Смерть ему приглянулась, барышнику-то. Вот и допялился.

И опять Сенька про «смерть» не слобастил — очень уж сожранными ушами заинтересовался.

— И чего этот барышник, сожрал? — удивился он. — Я бы нипочём не стал.

Проха пива из горлышка отхлебнул. Стал бы, говорит. Если б Князь тебя по-хорошему попросил, по-вежливому, стал бы как миленький и ещё спасибочки сказал, оченно вкусно. Барышник одно ухо-то пожевал-пожевал, проглотить не может, а Князь ему уж второе оттяпал и сует. И, чтоб поторапливался, пером в брюхо покалывает. После у волоколамца башка вся загноилась, распухла. Повыл пару деньков, да и подох, так и не доехал до своего Волоколамска. Во как у нас на Хитровке-то. Ты, Скорик, мотай на ус.

Про Князя Сенька, само собой, слышал, хоть и тёрся на Хитровке недолгое время. Про Князя кто ж не слышал? Самый рисковый на всю Москву налётчик. На рынках про него говорят, в газетах пишут. Псы на него охотятся, да только когти у них коротки. Хитровка, она своего не выдаст — знает, что с выдавальщиками бывает.

А ухо своё жрать я всё одно бы не стал, подумал Сенька. Лучше уж на нож.

— Она чего, Князева маруха, что ли? — спросил он про удивительную деву — так, из любопытства. Решил про себя, что глазеть на неё больше не будет, больно нужно. Да и не на кого было, она уже в лавку вошла.

«Фто ли», передразнил Проха (из-за выбитого зуба у Сеньки не все слова как надо выговаривались). Сам ты, говорит, маруха.

На Сухаревке кто пацана марухой обзывал — за такое сразу метелили без пощады, и Сенька прицелился было вмазать Прохе в костлявую харю, но передумал. Во-первых, может, у них тут на Хитровке другие обыкновения и сказано было не в обиду. Во-вторых, Проха — парнище здоровенный, тут ещё поглядеть, кто кого отметелит. А в-третьих, очень уж хотелось про девушку эту послушать.

Ну Проха поломался немножко и рассказал.

Жила она, как положено, при отце-матери, не то в Доброй Слободе, не то на Разгуляе, короче, где-то в той стороне. Девка выросла видная, сладкая, от женихов отбою не было. Ну и сосватали её, как в возраст вошла. Ехали они венчаться в церковь, она и жених её. Вдруг два кобеля чёрных, огромных, прямо перед санями через дорогу — шмыг. Если б тогда догадаться, да молитву прочесть, глядишь, по-другому бы сложилось. Или хоть бы крестом себя осенить. Только никто не догадался или, может, не успели. Лошади кобелей

чёрных напугались, понесли, и на повороте бултых с бережка в Язу. Жениха насмерть раздавило, кучер потоп, а девке ничего, ни царапки.

Ладно, всяко бывает. Повезли его хоронить, парня этого. Она, невеста, рядом с гробом шла. Убивалась ужас как — очень, говорят, его любила. А как стали через мост переезжать, напротив того самого места, где всё приключилось, она вдруг как крикнет — прощай, мол, народ христианский — да через оградку, да с моста головой вниз. Накануне приморозило, на реке лёд толстенный, так что по всему следовало ей себе башку вдребезги расколотить или шею переломать. Но вышло по-другому. Попала она прямиком в полынью, сверху ледком чуть-чуть заросшую и снежком припорошенную. Ушла под воду с головкой, и нет её.

Ну, все думают, потопла. Бегают, руками машут. А её, утопленницу-то, подо льдом саженой с полёта проволокло, да из проруби, где бабы бельё стирали, выкинуло.

Подцепили её багром или чем там, вытащили. Она по виду как мёртвая была, белая вся, но полежала, отогрелась и опять хоть бы что ей. Живёхонькая.

За такую кошачью живучесть прозвали её Живая, а иные называли Бессмертной, но это ещё не окончательное её прозвище было. Потом

поменялось.

Проходит год или, может, полтора, родители её давай снова замуж выдавать. Девка-то пуще прежнего расцвела. Посватался купчина один, немолодой, но сильно богатый. Ей-то, Живой, всё равно было, за купчину так за купчину. Кто её тогда знал, сказывают, что скучала она очень о женихе своём — о том, первом, что расшибся.

И что же? Новый жених за день до свадьбы, в церкви, на утренней, как захрипит, руками заполощет — и брык набок. Ногой подёргал, губами пошлёпал, и со святыми упокой. Кондрашка его прихватил.

После этого случая замуж она ходить больше не стала, а в скором времени сбежала из родительского дома с барином одним, из военных. Стала у него в доме жить, на Арбате. И совсем краля сделалась: одевалась по-господски, к отцу-матери приезжала в лаковой коляске, с кружевным зонтиком. Офицер даром что жениться на ней не мог, благословения от отца ему на это не было, а души в ней не чаял, безумно её обожал.

Но только и третьего она сгубила. Был он, барин этот, крепкий собой молодец, кровь с молоком, а как пожил с нею сколько-то, вдруг начал чахнуть. Бледный стал, хилый, ноги его не держат. Доктора с ним бились-бились. И на воды его, и в заграницы, да всё попусту. Сказывали, рак в

нем какой-то завёлся и клешнями своими всю внутреннюю ему разодрал.

Ну а как она офицера своего схоронила, тут уж до всех, даже до самых недоумных дошло: неладно с девкой. Тогда-то прозвище ей и переменяли.

Назад в слободу ей ходу не было, да и не хотела она. Жизнь у ней пошла совсем другая. Обычный народ её сторонился. Она мимо идёт — крестятся, да через плечо плюют. А клеились к ней известно кто — фатовые ребята, отчаянные, кому и смерть нипочём. Она ведь, как из барина того сок весь высосала, вон какая стала, сам видал. Можно сказать, первая на всю Москву раскрасавица.

Так дальше и пошло. Кольша Штырь (забироха был знаменитый, на Мещанах промышлял) с ней месяца два погулял — свои же ребята его на ножи поставили, слам не поделили.

Потом Яшка Костромской был, конокрад. Чистокровных рысаков прямо из конюшен уводил, цыганам продавал за огромные деньжищи. Иной раз в карманах по несколько тыщ носил. Ничего для неё не жалел, прямо в золоте купал. Застрелили Яшку псы легавые, полгода тому.

Теперь вот Князь с ней. Месяца три уже. То-то он и куражится, то-то и беснуется. Раньше был вор как вор, а ныне ему человека кончить, что муху раздавить. Всё потому что со Смертью связался и

понимает: недолго ему теперь землю топтать. Присказка есть: позвал смерть в гости, будешь на погосте. Прозвище — оно неспроста даётся, да ещё такое.

— Что за прозвище-то? — не выдержал Сенька, слушавший рассказ с разинутым ртом. — Ты, Проха, так и не сказал.

Проха на него вылупился, костяшками себя по лбу постучал. Ну ты, говорит, сырой-непропеченный. И чего тебя только Скориком кличут? Я ж тебе, говорит, битый час толкую. Смерть — вот какое у ней прозвище. Все её так зовут. Она ничего, привыкла, откликается.

## **Как Сенька стал хитрованцем**

Это Проха думал, что у Сеньки кличка такая — Скорик. Пацан шустрый, глазами во все стороны стреляет и на ответ ловкий, за словом в карман не полезет, оттого и прозвали. А на самом деле у Сеньки прозвище от фамилии взялось. Так родителя именовали: Скориков Трифон Степанович. А как теперь именуют, одному Богу известно. Может, он теперь и не Трифон Степаныч вовсе, а какой-нибудь ангел Трифаниил. Хотя папаша в ангелы навряд ли попал — все ж таки выпивал сильно, хоть и добрый был человек. А вот мамка, та всенепременно где-нибудь неподалёку от Светлого



Престола обретается.

Сенька часто про это думал, кто из родных куда попал. Насчёт отца сомневался, а про мать и братиков-сестричек, что вместе с родителями от холеры преставились, уверен был и даже о Царствии Небесном для них не молил — знал, и без того там они.

Холера к ним в слободу три года тому наведальась, много кого с собой забрала. Из всех Скориковых только Сенька и брат Ваня на белом свете зацепились. К добру ли, к худу ли — это ещё как посмотреть.

Для Сеньки-то скорее к худу, потому что жизнь для него с тех пор совсем другая пошла. Папаша приказчиком служил при большом табачном магазине. Жалованье имел хорошее, табак бесплатно. В малолетстве Сенька всегда одет-обут был. Как говорится, брюхо сыто и рожа мыта. Грамоте и арифметике в положенный срок обучен, даже в Коммерческое училище полгода отходить успел, но как осиротел, учение кончилось. Да ляд бы с ним, с учением, невелика потеря, не о нем печаль.

Брату Ваньке повезло, его взял к себе мировой судья Кувшинников, что у папаша всегда английский табак покупал. У судьи жена была, а детей не было, вот он Ванятку и забрал, потому что маленький и пухленький.

А Сенька уж большой был, мосластый, судье такой без интересу. И забрал к себе Сеньку двоюродный дядька Зот Ларионыч на Сухаревку. Там-то Скорик от рук и отбился.

А как было не отбиться?

Дядька, гад брюхатый, держал впроголодь. За стол с семьёй не сажал, даром что родная кровь. По субботам драл — бывало, что за дело, но чаще просто так, для куражу. Жалованья не давал никакого, хотя Сенька в лавке надрывался не хуже прочих рассыльных, кому по восьми рублей плачивалось. А обидней всего, что по утрам Сенька должен был за троюродным братом Гришкой ранец в гимназию таскать. Гришка идёт себе впереди важный, конфекту ландриновую сосёт, а Сенька, значит, за ним тащится, будто крепостной в стародавние времена, с тяжеленным ранцем (Гришка иной раз от озорства ещё нарочно кирпич внутрь засовывал). Его бы, Гришку этого, как чирей выдавить, чтоб нос не драл и леденцами делился. Или тем самым кирпичом по макушке, а нельзя, терпи.

Ну, Сенька и терпел, сколько мог. Считай, три года целых.

Конечно, и отыгрывался тоже, когда мог. Нужно ведь и душе облегчение давать.

Как-то раз Гришке в подушку мышонка запустил. Тот ночью на свободу прогрызся, да у

троюродного братца в волосах запутался. То-то крику среди ночи было. И ничего, никто на Сеньку не подумал.

Или вот на последней масленой, когда в доме всего напекли-наварили-нажарили, а сироте дали два блинка дырявых да постного маслица самую малость, Скорик осерчал и в котелок с густыми щами отвару овсяного, что от запору дают, плеснул. Побегайте-ка, жирномясые, до ветру, растряситесь. И тоже с рук сошло — на сметану несвежую подумали.

Когда получалось, мелочь всякую из лавки таскал: нитки там, ножницы или пуговицы. Чего можно, на Сухаревском толчке продавал, вовсе ненужное выкидывал. Тут, бывало, что и драли, но по одному только подозрению — впрямую уличён ни разу не был.

Зато уж когда погорел, то жарко, с дымом и огненными искрами. А всё жалостливое сердце, из-за него, глупого, позабыл Сенька о всегдашней осторожности.

Получил весточку от братца Вани, про которого три года слыхом не слыхивал. Часто тешился, представляя, как Ванюше, счастливчику, у судьи Кувшинникова хорошо, не то что Сеньке. А тут, значит, письмо.

Как дошло — удивительно. На конверте обозначено: «На Москву в Сухаревку братику Сене

што у дядя Зота жывет». Это хорошо у Зот Ларионыча на Сухаревской почте знакомый почтарь служит, догадался и принёс, дай ему Бог здоровья.

Письмо было вот какое.

*«Милой братик Сеня как ты живои. А я живу очен плохо. Миня учут писать буквы а исчо ругают и обижают хотя у миня скоро ден ангела. А я у них как лошадку просил а они нивкакую. Приежай и забири миня от этих недобрых людей.*

***Твой братик Ванюша».***

Сенька как прочитал — руки затряслись и слезы из глаз. Вот тебе и счастливчик! А судья-то хорош! Дитенка малого изводит, игрушку купить жидится. Чего тогда сироту на воспитание брал?

В общем, очень за Ванятку обиделся и решил, что будет ирод последний, если брата в таком мучительстве бросит.

Обратного адреса на конверте не было, но почтарь сказал, что штемпель теплостанский, это за Москвой, от Калужской заставы вёрст десять будет. А уж где там судья живёт, это на месте спросить можно.

Решал Скорик недолго. Как раз назавтра и Иоанн выпадал, Ванюшкины именины.

Собрался Сенька в дорогу, брата выручать. Если Ваньке совсем плохо — с собой забрать. Лучше уж вместе горе мыкать, чем поврозь.

Присмотрел в игрушечном магазине на Сретенке кобылку лаковую, с мочальным хвостом и белой гривой. Красоты несказанной, но дорогушая — семь рублей с полтинничком. В полдень, когда у дядьки Зота в лавке один глухой Никифор остался, подцепил Сенька гвоздём замок на кассе, вынул восемь рублей и давай Бог ноги. Про расплату не думал. Было у Скорика такое намерение — вовсе к дядьке не возвращаться, а уйти с братом Ванько на вольное житьё. К цыганам в табор или ещё куда, там видно будет.

Шёл до этих самых Тёплых Станов ужас сколько, все ноги оттоптал, да и кобыла деревянная чем дальше, тем тяжелей казалась.

Зато дом судьи Кувшинникова отыскал легко, первый же теплостанский житель указал. Хороший был дом, с чугунным козырьком на столбах, с садом.

В парадную дверь не полез — посовестился. Да, поди, и не впустили бы, потому что после долгой дороги был Сенька весь в пылище, и рожа поперёк рассечена, кровью сочится. Это за Калужской заставой, когда с устатку прицепился сзади к колымаге, кучер, гнида, ожёг кнутом, хорошо глаз не выбил.

Присел Сенька на корточки напротив дома, стал думать, как дальше быть. Из открытых окон сладко потренькивало — кто-то медленно, нескладно подбирал какую-то неизвестную Сеньке песню. Иногда слышался звонкий голосок, не иначе Ваняткин.

Наконец, осмелев, Скорик подошёл, встал на приступку, заглянул через подоконник.

Увидел большую красивую комнату. У здорового полированного ящика («пианино» называется, в училище тоже такое было) сидел кудрявый малолеток в матросском костюмчике, шлёпал розовыми пальчиками по клавишам. Вроде Ванька, а вроде и не он. Собой гладенький, свеженький — хоть заместо пряника ешь. Рядом барышня в стёклышках, одной рукой листки в тетрадке на подставочке переворачивает, другой рукой пацанёнка по золотистой макушке гладит. А в углу игрушек видимо-невидимо, и лошадок этих, куда побогаче Сенькиной, три штуки.

Не успел Скорик в толк взять, что за непонятность такая — как вдруг из-за угла коляска выкатывает, парой запряжённая. Едва успел соскочить, прижаться к забору.

В коляске сидел сам судья Кувшинников, Ипполит Иванович. Сенька его сразу признал.

Ванька из окна высунулся, да как закричит:  
— Привёз? Привёз?

Судья засмеялся, на землю слез. Привёз, говорит. Неужто не видишь. Как, говорит, звать её будем?

И только теперь Сенька разглядел, что к коляске сзади жеребёнок привязан, рыжий, с круглыми боками. Даже не жеребёнок, а вроде как взрослая лошадь, но только маленькая, не многим боле козы.

Ванька давай верещать: «Пони! У меня будет настоящий пони!» А Сенька повернулся и побрёл себе обратно к Калужской заставе. Савраску деревянную оставил в траве у обочины, пускай пасётся. Ваньке не нужна — может, другому какому ребятёнку сгодится.

Пока шёл, мечтал, как пройдёт сколько-то времени, вся Сенькина жизнь чудесно переменится, и приедет он сюда снова, в сияющей карете. Вынесет лакей карточку с золотыми буквами, на которой про Сеньку всё в лучшем виде прописано, и эта барышня, со стёклышками, скажет Ванятке: мол, Иван Трифионович, к вам братец пожаловали, с визитом. А на Сеньке костюм шевиотовый, гамаша на пуговках и палочка с костяным набалдашником.

Дотащился до дому уже затемно. Лучше б вовсе не возвращался — сразу сбежал.

Дядька Зот Ларионыч прямо с порога так звезданул, что искры из глаз, и зуб передний высадил, через который теперь плевать удобно.

После, когда Сенька упал, Зот Ларионыч его ещё ногами по рёбрам охаживал и приговаривал: это цветочки, ягодки впереди. В полицию, кричал, на тебя пожаловался, господину околоточному заявлению отписал. За воровство в тюрьму пойдёшь, кур-вин сын, там тебе ума пропишут. И ещё грозился-лаялся по-всякому.

Ну Скорик и сбежал. Когда дядька, руками-ногами махать умаявшись, стал со стены коромысло снимать, на чем бабы воду носят, дунул Сенька из сеней, сплёвывая кровянку и размазывая по роже слезы.

Ночь протрясся от холода на Сухаревском рынке, под возом сена. Страсть до чего жалко себя было, ребра ныли, морда побитая болела и ещё очень жрать хотелось. Полтинник, что от кобылы остался, Сенька ещё вчера проел и теперь у него в кармане, как в присказке, обретались голый в бане, вошь на аркане, да с полбанки дыр от баранки.

На рассвете ушёл с Сухаревки, от греха подальше. Коли Зот Ларионыч в околоток ябеду наката, зацапает Сеньку первый же городской и в кутузку, а оттуда нескоро выйдешь. Надо было подаваться туда, где Скорикова личность не примелькалась.

Пошёл на другой рынок, что на Старой-Новой площади, под Китайгородской стеной. Тёрся близ обжорного ряда, вдыхал носом запах печева,



глазами постреливал — не зазевается ли какая из торговок. Но стянуть робел — все же никогда вот так, в открытую не воровал. А ну как поймают? Утопчут ногами так, что Зот Ларионыч родной мамушкой покажется.

Бродил по рынку, от улицы Солянки держался в стороне. Знал, что там, за нею, Хитровка, самое страшное на Москве место. На Сухаревке, конечно, тоже фармазонщиков и щипачей полно, только куда им до хитровских. Вот где, рассказывали, жуть-то. Кто чужой сунься — враз догола разденут, и ещё скажи спасибо, если живой ноги унесёшь. Ночлежки там страшные, с подвалами и подземными схронами. И каторжники там беглые, и душегубы, и просто пьянь-рвань всякая. Ещё говорили, если какие из недоростков туда забредут, с концами пропадают. Будто бы есть там такие люди особые, хапуны называются. Хапуны эти мальчишек, которые без провожатых, отлавливают и по пяти рублей жидам с татарами в тайные дома на разврат продают.

Потом-то оказалось — брехня это. То есть про ночлежки и рвань правда, а хапунов никаких на Хитровке нету. Когда Сенька своим новым братанам про хапунов брякнул, то-то смеху было. Проха сказал, кто из пацанов желает лёгкую деньгу сшибить — это заради Бога, а насильно мальцов поганить ни-ни, Обчество такого не дозволяет.

Прирезать по ночному времени — это запросто. Спяну или если какой баклан сдуру залетит. Недавно вот нашли в Подкопаевском одного: башка всмятку, пальцы прямо с перстнями поотрезаны и глаза выколоты. Сам виноват. Не лезь, куда не звали. На то и кот, чтоб мыши не жирели.

Зачем глаза-то колотить? — испугался Сенька.

А Михейка Филин смеётся: поди, спроси у тех, кто колол.

Но разговор этот уже после был, когда Сенька сам хитрованцем сделался.

Быстро все вышло и просто — можно сказать, чихнуть не успел.

Примеривался Скорик, в сбитенном ряду, чего бы утырить, храбрости набирался, а тут вдруг шум, гам, крик. Баба какая-то орёт. Караул, мол, обокрали, кошель вынули, держи воров! И двое пацанов, Сенькиных примерно лет, несутся прямо по прилавкам, только миски да кружки из-под сапог разлетаются. Одного, который пониже, сбитенщица ручищей за пояс схватила, да на землю и сдёрнула. Попался, кричит, волчина! Ну ужо будет тебе! А второй воренок, востроносый, с лотка спрыгнул, и тётке этой рраз кулаком в ухо. Она сомлела и набок — брык (у Прохи завсегда при себе свинчатка, это Сенька потом узнал). Востроносый дёрнул второго за руку, дальше бежать, но к ним уже со всех четырех сторон подступались. За сбитенщицу

ушибленную, наверно, до смерти бы обоих уходили, если б не Скорик.

Как Сенька заорёт:

— Православные! Кто рупь серебряный обронил? Ну, к нему и кинулись: я, я! А он меж протянутых рук проскользнул и ворятам, на бегу:

— Что зявитесь? Ноги!

Они за ним припустили, а когда Сенька подле подворотни замешкался, обогнали и рукой махнули — за нами, мол, давай.

В тихом месте отдышались, поручкались. Михейка Филин (тот, что поменьше и пощекастей) спросил: ты чей, откуда?

Сенька в ответ:

— Сухаревский.

Второй, что Прохой назвался, оскалился, будто смешное услышал. А чего, говорит, тебе на Сухаревке не сиделось?

Сенька молча сплюнул через выбитый зуб — не успел тогда ещё с обновой обвыкнуться, но все равно аршина на три, не меньше.

Сказал скупю:

— Нельзя мне там больше. Не то в тюрьму.

Пацаны поглядели на Скорика уважительно. Проха по плечу хлопнул. Аида, говорит, с нами жить. Не робей, с Хитровки выдачи нет.

**Как Сенька обживался на новом**

## МЕСТЕ

С пацанами, значит, жили так.

Днём ходили тырить, ночью — бомбить.

Тырили все больше на той же Старой площади, где рынок, или на Маросейке, где торговые лавки, или на Варварке, у прохожих, иногда на Ильинке, где богатые купцы и биржевые маклеры, но дальше ни-ни. Проха, старшой, называл это «в одном дёре от Хитровки» — в смысле, чтоб в случае чего можно было дёрнуть до хитровских подворотен и закоулков, где тырщиков хрен поймашь.

Тырить Сенька научился быстро. Дело лёгкое, весёлое.

Михейка Филин «карася» высматривал — человека пораззявистей — и проверял, при деньгах ли. Такая у него, у Филина, работа была. Пройдёт близёхонько, потрётся и башкой знак подаёт: есть, мол, лопатник, можно. Сам никогда не щипал — таланта у него такого в пальцах не было.

Дальше Скорик вступал. Его забота, чтоб «карась» рот разинул и про карманы позабыл. На то разные заходцы имеются. Можно с Филиным драку затеять, народ на это поглазеть любит. Можно взять и посередь мостовой на руках пройтись, потешно дрыгая ногами (это Сенька сызмальства умел). А самое простое — свалиться «карасю» под ноги,

будто в падучей, и заорать: «Лихо мне, дяденька (или тётенька, это уж по обстоятельствам). Помираю!» Тут, если человек сердобольный, непременно остановится посмотреть, как паренька корчит; а если даже сухарь попался и дальше себе пойдёт, так все равно оглянется — любопытно же. Прохе только того и надо. Чик-чирик, готово. Были денежки ваши, стали наши.

Бомбить Сеньке нравилось меньше. Можно сказать, совсем не нравилось. Вечером, опять-таки где-нибудь поближе к Хитровке, высматривали одинокого «бобра» (это как «карась», только выпимши). Тут опять Проха главный. Подлетал сзади и с размаху кулаком в висок, а в кулаке свинчатка. Как свалится «бобёр», Скорик с Филином с двух сторон кидались: деньги брали, часы, ещё там чего, ну и пиджак-штилеты тоже сдёргивали, коли стоящие. Если же «бобёр» от свинчатки не падал, то с таким бугайной не вязались: Проха сразу улепётывал, а Скорик с Филином и вовсе из подворотни носу не совали.

Тоже, в общем, дело нехитрое — бомбить, но противное. Сеньке сначала жутко было — ну как Проха человека до смерти зашибёт, а потом ничего, привык. Во-первых, все ж таки свинчаткой бьёт, не кастетом и не кистенём. Во-вторых, пьяных, известно, Бог бережёт. Да и башка у них крепкая.

Слам продавали сламщикам из бунинской

ночлежки. Иной раз на круг рублишка всего выходил, в удачный же день до пяти червонцев. Если рублишка — ели «собачью радость» с черняшкой. Ну а если при хорошем хабаре, тогда шли пить вино в «Каторгу» или в «Сибирь». После полагалось идти к лахудрам (по-хитровски «мамзелькам»), кобелиться.

У Прохи и у Филина мамзельки свои были, постоянные. Не марухи, конечно, как у настоящих воров — столько не добывали, чтоб только для себя маруху держать, но все-таки не уличные. Иной раз пожрать дадут, а то и в долг поверят.

Сенька тоже скоро подрунькой обзавёлся, Ташкой звать.

Проснулся Сенька в то утро поздно. Спьяну ничего не помнил, что вчера было. Глядит — комнатёнка маленькая, в одно занавешенное окошко. На подоконнике горшки с цветами: жёлтыми, красными, голубыми. В углу, прямо на полу, баба какая-то жухлая, костлявая валяется, кашлем бухает, кровью в тряпку плюёт — видно, в чахотке. Сам Сенька лежал на железной кровати, голый, а на другом конце кровати, свернув ноги по-турецки, сидела девчонка лет тринадцати, смотрела в какую-то книжку и цветы раскладывала. Притом под нос себе что-то приговаривала.

— Ты чего это? — спросил Сенька осипшим голосом.

Она улыбнулась ему. Гляди, говорит, это белая акация — чистая любовь. Красный бальзамин — нетерпение. Барбарис — отказ.

Он подумал, малахольная. Не знал ещё тогда, что Ташка цветочный язык изучает. Подобрала где-то книжонку «Как разговаривать при посредстве цветов», и очень ей это понравилось — не словами, а цветами изъясняться. Она и трёшницу, что от Сеньки за ночь получила, почти всю на цветы потратила. Сбегала с утра на базар, накупила целую охапку всякой травы-муравы и давай раскладывать. Такая уж она, Ташка.

Сенька у ней тогда чуть не весь день провёл. Сначала лечился, рассол пил. Потом поел хлеба с чаем. А после уже так сидели, без дела. Разговаривали.

Ташка оказалась девка хорошая, хоть и не без придури. Взять хоть цветы эти или мамку её, пьянчужку горькую, чахоточную, ни на что негодную. Чего с ней возиться, зря деньги переводить? Всё одно помрёт.

А вечером, перед тем как на улицу идти, Ташка вдруг говорит: Сень, мол, а давай мы с тобой будем товарищи.

Он говорит:

— Давай.

Сцепились мизинцами, потрясли, потом в уста поцеловались. Ташка сказала, что так между

товарищами положено. А когда Сенька после поцелуя начал её лапать, она ему: ты чего, говорит. Мы ж товарищи. Товарища кобелить — последнее дело. Да и не нужно тебе со мной, у меня французка, от приказчика одного подцепила. Будешь со мной вакситься — нос твой сопливый отвалится.

Сенька переполошился:

— Как французка? Чего ж ты вчера не сказала?

Вчера, говорит, ты мне никто был, клиент, а теперь мы товарищи. Да ничего, Сенька, не пужайся, болезнь эта не ко всякому пристаёт и редко, когда с одного раза.

Он малость успокоился, но жалко её стало.

— А ты как же?

Подумаешь, говорит. У нас таких много. Ничего, живут себе. Иные мамзельки с французкой до тридцати годов доживают, а кто и дольше. По мне так и тридцать больно много. Вон мамке двадцать восьмой годок, а старуха совсем — зубы повыпали, в морщинах вся.

По правде сказать, Скорик только перед пацанами Ташку мамзелью звал. Стыдно было правду сказать — засмеют. Да ладно, чего там. Кобелить кого хочешь можно, была бы трёшница, а другого такого товарища где возьмёшь?

Короче, выходило, что жить можно и на



Хитровке, да ещё лучше, чем в иных прочих местах. Тоже и здесь, как везде, имелись свои законы и обыкновения, которые нужны, чтоб людям было способнее вместе жить, понимать, что можно, а чего нельзя.

Законов много. Чтоб все упомнить, это долго на Хитровке прожить надо. По большей части порядки простые и понятные, самому допереть можно: с чужими как хошь, а своих не трожь; живи-поживай, да соседу не мешай. Но есть такие, что сколько голову ни ломай, не усмыслишь.

Скажем, если кто допрежь третьего часа ночи кочетом крикнет — из озорства, или спьяну, или так, от дури, — того положено бить смертным боем. Зачем, почему, никто Сеньке разъяснить не сумел. Было, верно, когда-то какое-нибудь в этом значение, но теперь уже и старые старики не вспомнят, какое. Однако орать петухом среди ночи все одно нельзя.

Или ещё. Буде какая мамзелька начнёт для форсу зубы магазинным порошком чистить и клиент её в том уличит — имеет полное право все зубья ей повыбить, и мамзелькин «кот» такой ущерб должен стерпеть. Мелом толчёным чисти, если покрасоваться желаешь, а порошком не моги, его немцы придумали.

Хитровские законы, они двух видов: от прежних времён, как в старину заведено было, и

новые — эти объявлялись от Обчества, по необходимости. Вот, к примеру, конка по бульвару пошла. Кому на ней работать — щипачам, что пальцами карманы щиплют, или резунам, что монетой заточенной режут? Обчество посовещалось, решило — резунам нельзя, потому на конке одна и та ж публика ездит, ей тогда карманов не напасёшься.

Обчество состояло из «дедов», самых почтенных воров и фартовых, кто с каторги вернулся или так, по старческой немощи, от дел отошёл. Они, «деды», любую каверзную закавыку разберут и, если кто перед Обчеством провинился, приговор объявят.

Кто людям жить мешает — прогонят с Хитровки. Если сильно наподличал, могут жизни лишить. Иной раз в наказание выдадут псам, да не за то, в чем истинно перед Обчеством виноват, а велят на себя чужие дела взять, за кого-нибудь из деловых. Так оно для всех справедливей выходит. Нашкодил перед Хитровкой — отслужи: себя отбели и людям хорошим помощи, а за это про тебя в тюрьме и в Сибири слово скажут.

В полицию приговорённого выдавали тоже не абы кому, а только своему, Будочнику, старейшему хитровскому городовому.

Будочник этот в здешних местах больше двадцати лет отслужил, без него и Хитровка не

Хитровка, она на нем, можно сказать, словно земля на рыбе-кит стоит, потому как Будочник — власть, а народу совсем без власти нельзя, от этого он, народ, в забвение себя входит. Только власти должно быть немножко, самую малость, и чтоб не по бумажке правила, которую неизвестно кто и когда придумал, а по справедливости — чтоб всякий человек понимал, за что харю ваксят.

Про Будочника все говорили: крут, но справедлив. Зря не обидит. В глаза все его звали уважительно, Иван Федотычем, а фамилия ему было Будников. Но Сенька так и не понял, по фамилии ему прозвище дали, или оттого что в прежние времена, говорят, всех московских городских будочниками звали. А может, из-за того, что проживал он в казённой будке на краю Хитровского рынка. Когда обходом не вышагивал, то во всякое время сидел у себя, перед открытым окном, на площадь поглядывал, читал книжки с газетами и пил чай из знаменитого серебряного самовара с медалями, которому цена тыща рублей. И запоров в будке не имелось, вот как. А зачем Будочнику запоры? Во-первых, что от них толку, когда вокруг полно шпилечников да форточников наивысшего разбора. Им любой замок открыть — плёвое дело. А во-вторых, кто же полезет у Будочника тырить, кому жизнь надоела?

Всё ему, служивому, из своего окошка было

слыхать, всё видать, а чего не увидит, не услышит — шепнут верные люди. Это ничего, Обчеством не возбраняется, потому что Будочник на Хитровке свой. Если б он не по хитровским, а по писанным законам бытовал, давно бы уж порезали его насмерть. А так, если и заберёт кого в участок, то все с пониманием: стало быть, нельзя иначе, тоже и ему надо перед начальством себя показать. Только Будочник редко кого сажал — разве уж никак без этого нельзя, — а так всё больше сам рученьками учил, и ещё кланялись, спасибо говорили. За все годы один только раз двое фартовых на него с ножом попёрли, не хитровские, а беглые, с каторги. Он обоих пудовыми своими кулачищами до смерти уделал, и была ему за это от пристава медаль, от людей полное уважение, да ещё от Обчества золотые часы за неудобство.

Когда Сенька малость обжился, стало ясно: не такая уж она страшная, Хитровка. И веселей тут, и свободней, а про сытней и говорить нечего. Зимой, когда похолодает, наверно, набедуешься, да только зима, она когда ещё будет.

## **Как Сенька познакомился со смертью**

Было это дней через десять после того, как Сенька увидал Смерть впервые.

Торчал он возле её дома, что на Яузском

бульваре, поплёвывал на тумбу, куда лошадей привязывают, и пялился на приоткрытые окна.

Знал уже, где она проживает, пацаны показали, и, по правде говоря, тёрся здесь не первый день. Дважды свезло, видел её издали мельком. Один раз, тому четыре дня, Смерть из дому вышла, в платочке чёрном и чёрном же платье, села в поджидавший шарабан и поехала в церковь, к обедне. А вчера видел её под ручку с Князем: одета барыней, в шляпе с пером. Повёз её кавалер куда-то — в ресторацию или, может, в театр.

Заодно и на Князя поглядел. Что сказать — молодец хоть куда. Как-никак первый на всю Москву налётчик, шутка ли. Это генералу-губернатору Симеон Александровичу легко: родился себе царёвым дядькой, вот тебе и генерал, и губернатор, а поди-ка выбейся среди всех московских фартовых на самое первеющее место. Вот уж вправду: из грязи да в князи. И ребята, кто при нем состоит, молодец к молодцу — все говорят. И будто бы совсем молодые есть, немногим старше Сеньки. Надо же, какое некоторым счастье, вот так враз, с зелёных лет к самому Князю в товарищи попасть. И почёт им, и девки какие хочешь, и деньжищ немеряно, и одеваются селезнями.

Сам знаменитейший налётчик, когда Сенька его увидел, был в красной шёлковой рубахе,

атласной жилетке цвета лимон, бархатном малиновом сюртуке; на затылке шляпа золотистой соломки; на пальцах золотые перстни с камнями; сапожки — зеркальный хром. Заглядение! И на лицо тоже красавец хоть куда. Русый чуб врзлёт, дерзкий синий глаз навываете, меж красных губ золотой искоркой фикса посверкивает, а подбородок будто каменный и посередке ямка.

Не пара — картинка, подумал Сенька и отчего-то вздохнул.

То есть ничего такого себе в голове не держал, отчего вздыхать бы следовало. Ни в какие глупые мечтания не пускался, Боже сохрани. И на глаза к Смерти не лез. Хотелось просто на неё ещё посмотреть, разглядеть получше, что в ней такого необыкновенного, отчего, как увидишь её, всю внутреннюю будто в кулак забирает. Вот и стапывал на бульваре подмётки уж который день подряд. Как оттырит своё с пацанами, так сразу на Яузский.

Дом снаружи уже весь обсмотрел, в доскональности. И про то, какой он внутри, тоже знал. Пархом-слесарь, который Смерти рукомойник починял, рассказывал, что Князь обустроил свою полюбовницу самым шикарным манером, даже трубы водяные провёл. Если не наврал Пархом, то у Смерти там в особой комнате бадья имелась фарфоровая, ванна называется, и в неё из железной

трубки сама собой вода течёт горячая, потому что сверху котёл с газовым подогревом. Смерть в той бадье чуть не каждый Божий день моется. Сенька представил себе, как она там сидит вся розовая, распаренная, мочалкой плечи трёт, и от такой фантазии самого в пар кинуло.

Тоже и с улицы если посмотреть, домик был очень ничего себе. Раньше тут усадьба была, генерала какого-то, да в пожар выгорела, один этот флигелёк остался. Небольшой, в четыре окна на бульвар. Место тут было особенное, самая граница между хитровскими трущобами и богатенькими Серебряниками. По ту, яузскую сторону дома были повыше, почище, полепнистей, а по эту, хитрованскую, поплоше. На лошаков похожи, которых на Конном рынке продают: с крупа посмотришь — вроде лошадь как лошадь, а с другой стороны зайдёшь — ишак ишаком.

Вот и Смертьин дом выглядывал на бульвар аккуратно, важно, а двором выходил в самую что ни на есть гнилую подворотню, от которой до Румянцевской ночлежки доплюнуть можно. Видно, так Князю удобней было свою кралю поселить — чтоб в случае чего, если у ней обложат, рвануть с чёрного хода или хоть из окна, да в ночлежный дом, а там ходы-коolidоры подземные, сам черт ногу сломит.

Но от бульвара, где промеж деревьев гуляла

культурная публика, ни тёмной подворотни, ни тем более Румянцевки видно не было. Хитрованцам за ажурную оградку ход был заказан — враз псы метлой заметут, да в кузовок мусорный. И тут-то, на хитровском бережку, Сенька себя не больно авантажно держал, всё больше к стене дома жался. Вроде и не рвань какая, и вёл себя чинно, а все одно — проходил мимо Будочник, глазом зыркнул, остановился.

Ты что тут жмёшься, говорит. Ты, Скорик, смотри у меня.

Вот он какой! Уже и личность знал, и прозвище, даром что Сенька на Хитровке из новеньких. Одно слово — Будочник.

Ты, говорит, тут тырить не моги, нет на это твоей юрисдикции, потому тут уже не Хитровка, а цивильная променада. Гляди, мол, несовершеннолетний Скорик, мартышкино семя, ты у меня на сугубом наблюдении до первого попраania законности, а при уличении или хучь бы даже подозрению получишь от меня реприманд по мордасам, штрафную ухотрепку и санкцию ремнём по рёбрам.

— Да я чего, дяденька Будочник, — жалостно скривился Сенька. — Я так только, на солнышке погреться.

Ну и получил по затылку чугунной лапой — аж промеж ушей хрустнуло.



Я те дам, рычит, «Будочник». Ишь, волю взял. Я тебе Иван Федотыч, понял?

Сенька ему смиренно:

— Понял, дяденька Иван Федотыч.

Тогда только брови рассупил. То-то, сказал, мартышка сопливый. И пошёл дальше — важный, медленный, большой, будто баржа поплыла по Москве-реке.

Ну ладно, ушёл себе и ушёл. Сенька стал дальше стоять. Поглядывал на Смертьины окошки, и уж ему того мало казалось. Прикидывал, как бы так сделать, чтобы Смерть выглянула, себя показала.

От нечего делать достал из кармана бусы зеленые, что нынче утром добыл, принялся их разглядывать.

С бусами, оно вот как вышло.

Шёл Сенька с Сухаревки через Сретенские переулки...

Нет, сначала нужно рассказать, зачем на Сухаревку ходил. Тут тоже было чем погордиться.

На Сухаревку Скорик не просто так отправился, а по честному делу. С дядькой Зот Ларионычем поквитаться. Жил-то теперь по хитровским законам, а законы эти плохому человеку спускать не велели. Беспременно полагалось за всякую обиду расчёт произвести, и хорошо бы с переплатой, иначе будешь не пацан —

уклейка мокрохвостая.

Ну, Сенька и пошёл, да ещё Михейка Филин в попутчики навязался. Если б не Михейка, то среди бела дня на такое вряд ли б насмелился, ночью бы провернул, ну а тут деваться некуда, пришлось молодечить.

Но вышло всё на ять, важно.

Засели на чердаке ломбарда «Мёбиус», что напротив дядькиной лавки. Михейка только глазел, Сенька всё сам произвёл, своими руками.

Вынул свинцовую пульку, прицелился из рогатки — и хрясь ровно в середку витрины. Их, больших стеклянных окон с серебряными буквами «Пуговичная торговля», у Зот Ларионыча целых три было. Очень он ими гордился. Бывало по четыре раза на дню гонял Сеньку стекла эти поганые бархоточкой надраивать, так что и к витринам у Скорика свой счёт был.

На звон и брызг выбежал из лавки Зот Ларионыч в переднике, одной рукой лоток с шведскими костяными пуговицами держит, в другой шпулю ниток (знать, покупателя обслуживал). Башкой вертит, рот разевает, никак в толк не возьмёт, что за лихо с витриной приключилось.

Тут Сенька рраз! — и вторую вдребезги. Дядька товар выронил, на коленки бухнулся и давай сдуру стёклышки расколотые подбирать. Ну,

умора!

А Скорик уже в третье окно нацелился. Лопнуло так — любо-дорого посмотреть. Кушайте, любезный Зот Ларионыч, за вашу к сироте заботу-ласку.

Последней дулей, самой увесистой, раззадорившись, щёлкнул дядьку по маковке. Тот, кровосос, так с коленок на бок и завалился. Лежит, глаза выпученные, а орать больше не орёт — вот как изумился.

Михейка от Скориковой лихости был в полном восхищении: и в четыре пальца свистел, и совой ухал — у него это здорово получалось, потому и «Филином» прозвали.

А как шли обратно по-за Сретенкой, Ащеуловым переулком, (Сенька солидно помалкивал, Михейка тараторил без умолку, восхищался), видят — две коляски стоят перед неким домом. Чемоданы вносят с заграничными наклейками, коробки какие-то, ящики. Видно, приехал кто-то, заселяется.

Сеньке сретенской виктории мало показалось.

— Маханем? — кивнул он на багаж. Всякий ведь знает, что тырить лучше всего на пожаре да на переезде.

Михейке тоже охота была себя показать. А чего, говорит, давай.

Первым в подъезд барин вошёл. Его Сенька

толком не разглядел — видел только широкие плечи и прямую спину, да седой висок из-под цилиндра. Однако барин был, хоть и седой, но, судить по звонкому голосу, не старый. Крикнул, уже из парадного, немножко заикаясь:

— Маса, п-пригляди, чтоб фару не разбили!

Распоряжаться остался слуга. Не то китаец, не то туркестанец какой — короче, низенький, кривоногий, с узкими глазёнками. Одет тоже чудно: в котелке и чесучовой тройке, а на ногах вместо штиблет белые чулки и потешные деревянные шлёпанцы навроде скамеечек. Одно слово — азиат.

Носильщики в кожаных фартуках с бляхами (вокзальные — значит, барин на железке приехал) вносили в дом всякую всячину: связки книг, какие-то колёса на каучуковых шинах с блестящими спицами, медный сияющий фонарь, трубки со шлангами.

Подле китайца — или кто он там — стоял бородатый дядя, видно, квартирный хозяин, почтительно наблюдал. Про колёса спросил: для чего, мол, они господину Неймлесу и не каретных ли он дел мастер.

Азиат не ответил, только щекастой ряхой помотал.

Один из извозчиков, не иначе как на чаевые набиваясь, гаркнул на Сеньку и Филина: а ну геть отседа, шпана!

Пускай орёт — поленится с козёл слезать.

Михейка шёпотом спросил:

— Скорик, чего тырить будем? Чемодан?

— Какой чемодан, дура, — скривив губы, процедил Сенька. — Примечай, что он из рук не выпускает.

А китаец держал при себе саквояж и ещё узелок малый — надо думать, самое ценное, чего чужим не доверишь.

Михейка снова шипит: а как взять? Чай, если вцепился, не выпустит?

Скорик подумал-подумал и сообразил.

— Ты, Филин, главное, не заржи, делай пустую рожу.

Поднял с земли камешек, прицелился и — чпок! — сбил с азиата котелок. Руки сразу в карман, рот раскрыл — прямо ангел.

Когда косоглазый оглянулся, Сенька ему со всем почтением:

— Дядя китаец, у вас шляпка свалилась.

И Михейка, молодец, ничего — стоит, глазами хлопает.

Ну-ка, поглядим, что нехристь на приступочку положит, чтоб котелок подобрать, — саквояж или узелок.

Узелок. Саквояж у слуги в левой руке остался.

Сенька уж наготове был. Подскочил, будто кот на воробья, ухватил узелок и как припустит

вдоль по переулку.

Михейка тож. Бежит рядом, филином ухает, а хохочет так, что картуз обронил. Да картузишко-то дрянь, с треснутым козырьком, не жалко.

Китаец настырный оказался, долго не отставал. Михейка скоро в подворотню отвалил, так азиат за одним Сенькой уклеился. Сурьезно бежал, ходко и на крик силу не тратил. Видно было, что не отвяжется. Скамейками своими деревянными по мостовой тук-тук-тук, всё ближе и ближе.

На углу Сретенки Сенька хотел уже узелок к бесу кинуть (без Михейки куражу-то поубавилось), но тут сзади загромыхало — это китаеза своей дурацкой шлепанцей за булыгу зацепился и растянулся во весь невеликий рост.

То-то.

Сенька ещё попетлял по переулкам и только потом узелок развязал — что там за сокровища такие. Увидел внутри зеленые круглые камешки на нитке. Собой невидные, но кто их знает, может, они тыщу стоят.

Снёс знакомому сламщику. Тот пощупал, зубом погрыз. Дешёвка, говорит. Мрамор китайский, нефрит называется. Семьдесят копеек, говорит, могу дать.

За семьдесят копеек Скорик не отдал, себе оставил. Больно уж вкусно камешки друг об дружку щёлкали.

Однако ну их, бусы, не об них речь, а о Смерти.

Стало быть, торчал Сенька подле заветного дома и всё не мог придумать, как Смерть к окну подманить.

Достал зеленую низку, побрякал бусами — цок, цок. Подумалось: словно молоточки фарфоровые, хотя какие ж из фарфора могут быть молотки?

И вдруг таким же точно стуком в голове что-то отозвалось — звонко. А мы вон как её выманим! И очень просто!

Посмотрел вокруг, подобрал стёклышко. Поймал луч позднелетнего солнца, да и пустил зайчика в просвет между шторами.

И что же? Минуты не прошло, занавески раздвинулись и выглянула наружу она самая, Смерть.

Сенька от неожиданности так обомлел, что руку со стеклом спрятать позабыл — так зайчик у Смерти по лицу и запрыгал. А она глаза ладонью прикрыла, посмотрела-посмотрела и говорит:

— Эй, мальчик!

Обиделся Скорик: какой я тебе мальчик. И одет вроде был не по-детски: в рубаху с подпояской, штаны плисовые, сапоги новые, гармошкой, и картуз неплохой, третьего дня с одного пьяного снятый.

— Кому мальчик, а кому в ..... пальчик, — огрызнулся Сенька, хотя срамных слов не любил и почти никогда не говорил — над ним за это даже смеялись. А тут похабство само выскочило — очень уж ослепительно было ему на Смерть глядеть, будто не он её, а она его зайцем солнечным жжёт.

Она не стусевалась, не озлилась — наоборот, засмеялась.

— Ишь, Пушкин какой выискался. Ты хитровский? Зайди-ка, дело есть. Заходи, не бойся, там не заперто.

— Чего бояться-то, — пробурчал Скорик, пошёл к крыльцу. То ли явь, то ли сон — сам не разберёт. А сердце стук-стук-стук.

Чего у неё в сенях, толком не разглядел, да и темновато было. Смерть в дверях горницы стояла, опершись плечом о косяк. Лицо в тени, но глаза все равно высверкивали, будто блики на ночной реке.

— Ну, чего надо? — спросил Сенька, от робости ещё грубей прежнего.

На хозяйку не смотрел, всё больше под ноги и по сторонам.

Хорошая была комната. Большая, светлая. Три белые двери из неё: одна напротив входа и ещё две рядышком. Печь-голландка с изразцами, всюду вышитые салфеточки, скатерть тоже в вышивке, такой яркой, хоть прищуривайся. На скатерти узор небывалый: бабочки, птицы райские, цветы.



Посмотрел получше, а они все, и бабочки, и птицы, и даже цветы, с человеческими лицами — одни плачут, другие смеются, третьи злющие и зубы острые щерят.

Смерть спрашивает:

— Нравится? Это я вышиваю. Делать-то что-нибудь нужно.

Чувствовал он, что она его разглядывает, и самому страсть хотелось на неё вблизи посмотреть, но боялся — и без посмотрелок то в жар, то в холод кидало.

Наконец насмелился, поднял голову. Оказалось, Смерть с ним одного роста. И ещё удивился, что глаза у ней совсем чёрные, как у цыганки.

— Что глядишь, конопатый? — засмеялась Смерть. — Ты зачем мне лучик пускал? Я тебя давно заметила, под окнами моими шастаешь. Влюбился, что ли?

Тут Сенька заметил, что глаза-то не совсем чёрные, а с тоненькими голубыми ободочками, и догадался: это у ней зрачки такие широченные, как у дядькиного любимого кота, когда его для смеху валерьянкой обпоят. И стало ему от этого чёрного взгляда жутко.

— Вот ещё, — сказал. — Нужна ты мне.

И губу на сторону ухмыльнул. Она снова засмеялась.

— Э, да ты не только конопатый, но ещё и щербатый. Я не нужна, так, может, деньги мои сгодятся? Сбегай в одно место, куда скажу. Недалеко, за Покровкой. Вернёшься — рубль дам.

Скорика как заколдобило — он опять:

— Нужен мне твой рубль.

В оцепенении был, а то бы чего поумнее в ответ сказал.

— А что ж тогда тебе надо? Чего около дома крутишься? Ей-богу, влюбился. Ну-ка, смотри сюда. — И пальцами его за подбородок.

Он её по руке хрясь — не лапай.

— Кобель в тебя влюбился. Мне от тебя другое нужно... — Сам не знал, чего бы ляпнуть, и вдруг, как по Божьему наитию — будто само с уст соскочило. — К Князю в шайку хочу. Замолви словечко. Тогда чего хошь для тебя сделаю.

Сказал и обрадовался — ай да ловко. Во-первых, не срамно — а то что она заладила «влюбился, влюбился». Во-вторых, себя заявил: не оголец, а сурьезный человек. Ну и вообще: вдруг правда к Князю пристроит. То-то Проха от зависти треснет!

Она лицом помертвела, отвернулась.

— Незачем тебе. Вон чего захотел, волчонок!

Обхватила себя за плечи, вроде как зябко ей, хотя в комнате тепло было. Постояла так с полминуты, снова к Сеньке повернулась и сказала

жалобно, да ещё за руку взяла:

— Сбегай, а? Я тебе не рубль — три дам. Хочешь пять?

Но Скорик уже понял: его сила, его власть, хоть и невдомёк было, почему. Видно очень уж Смерти что-то на Покровке запонадобилось.

Отрезал:

— Нет, хоть четвертную давай, не побегу. А Князю шепнёшь или отпишешь, чтоб меня взял, тогда вмиг слетаю.

Она за виски взялась, покривилась вся. Первый раз Сенька видел, чтобы баба, сморщив рожу, не утратила красоты.

— Черт с тобой. Исполни, что поручу, а там посмотрим. И обсказала, чего ей нужно:

— Беги в Лобковский переулок, номера «Казань». Там у ворот калека сидит безногий. Шепни ему слово особенное: «иовс». Да не забудь, не то худо будет. Войдёшь в номера, пускай тебя к человеку отведут, имя ему Очко. Скажешь ему тихонько, чтоб никто больше не слышал: «Смерть дожидается, мочи нет». Возьмёшь, чего даст, и живо обратно. Всё запомнил? Повтори.

— Не попка повторять.

Нахлобучил Скорик картуз, да и выскочил на улицу.

Так вдоль бульвара припустил, что двух лихачей обогнал.

## Как Сенька поймал судьбу за хвост

Хорошо Сенька знал, где они, номера «Казань», а то их хрен сыщешь. Ни вывески, ничего. Ворота наглухо заперты, только малая калитка немножко приоткрыта, но тоже так, запросто, не войдёшь: прямо перед железной решёткой расселся убогий инвалид, вместо ног штанины пустые завёрнуты. Зато плечищи в сажень, морда красная, дублёная, из засученных рукавов тельняшки видно крепкие, поросшие рыжим волосом лапы. Убогий-то он убогий, но, поди, как стукнет своей колотушкой, которой тележку от земли толкает, — враз душа вон.

Сенька сразу к безногому не полез, сначала пригляделся.

Тот не без дела сидел, свистульками торговал. Покрикивал сиплым басом, лениво: па-адхади, мелюзга, у кого есть мозга, свистульки из банбука, три копейки штука. Возле калеки толкалась ребятня, пробовала товар, дула в гладкие жёлтые деревяшки. Иные покупали.

Один попросил, показав на медную трубочку, что висела у инвалида на толстой шее: дай, мол, дедушка, энтот свисток опробовать. Калека ему щелобан по лбу: это тебе не свисток, а боцманская дудка, в неё всякой мелочи сопливой дуть не

положено.

И стало Сеньке всё в доскональности ясно. Моряк этот тут для виду торговлю ведёт, а сам, конечно, на стрёме. И ловко как придумано-то: если шухер, дунет в свою медную свистелку — у ней, надо думать, голос звонкий, вот и будет знак остальным подмётки смазывать. А слово волшебное, которому Смерть научила, «иовс», это «свои», только шиворот-навыворот. На Москве фартовые и воры издавна так язык ломали, чтоб чужим не понять: то слог какой прибавят, то местами переменят, то ещё что-нибудь удумают.

Подошёл к стремщику, наклонился к самому уху, шепнул, чего было велено. Дед на него из под пучкастых бровей зыркнул, сиво-рыжим усищем дёрнул, сказать ничего не сказал, только малость на тележечке своей отъехал.

Вошёл Скорик в пустой двор и остановился. Неужто здесь сам Князь с шайкой хазу держат?

Одёрнул рубаху, рукавом по сапогам провёл, чтоб блестели. Картуз снял, снова надел. Перед дверью в дом перекрестился и молитовку пробормотал — особенную, об исполнении желаний, давно ещё один хороший человек научил: «Пожалуй мя, Господи, по милости Твоей, призре на моление смиренных, воздаждь ми не по заслугам, а по хотению».

Собрался с духом, подёргал — закрыто. Тогда

постучал.

Открыли не сразу, и не во всю ширину, а на чуть-чуть, и чей-то глаз из темноты блеснул.

Сенька на всякий случай снова:

— Иовс. Из-за двери спросили:

— Тебе чего?

— Очка бы желательно...

Тут дверь открылась вся, и увидел Скорик парня в шёлковой рубаше с узорчатым ремешком, в сафьяновых сапожках, из жилетного кармана цепка серебряная свисает с серебряной же черепушкой — сразу видать, что деловой самовысшей пробы. И взгляд особенный, как у всех деловых: быстрый, цепкий, приметливый. Ух, как завидно стало: парнишка был его, Сенькиных, лет, а ростом ещё и поменьше. Вот людям фарт!

Пойдём, говорит. И сам вперёд пошёл, на Сеньку больше не смотрел.

Тёмный коридор привёл в комнату, где за голым столом двое шлёпались в карты. Перед каждым — горка кредиток и золотых империалов. Аккурат когда Скорик и его провожатый вошли, один игрок карты перед собой швырнул и как крикнет:

— Мухлюешь, курвин потрох! Дама где? — и раз второму кулаком в лоб.

Тот так со стулом и завалился. Сенька ойкнул — испугался, что затылок расшибёт. А упавший

через голову кувыркнулся, чисто акробат в цирке-шапито, вскочил, на стол прыг, и тому, что ударил, хлобысть ногой по харе! Сам ты, кричит, мухлюешь. Вышла дама-то!

Ну, тот, кому по морде сапогом отвешено, конечно, запрокинулся. Золото по полу катится, звенит, бумажки во все стороны летят — ужас.

Сенька оробел: сейчас смертоубийство будет. А парнишка стоит, зубы скалит — весело ему.

Этот, который свару начал, скулу потёр.

— Так вышла, говоришь, дама? И вправду вышла. Ладно, давай дальше играть.

И сели, будто ничего не бывало, только карты разбросанные подобрали.

Вдруг Сенька обмер. Челюсть отвисла, глазами хлопает. Пригляделся, а игроки-то на одно лицо, не отличишь! Оба курносые, желтоволосые, губастые, и одеты одинаково. Что за чудо!

— Ты чего? — дёрнул за рукав провожатый. — Идём.

Пошли дальше.

Опять коридор, снова комната. Там тихо, на кровати спал кто-то. Харю к стенке отвернул, видно только щеку толстую и оттопыренное ухо. Здоровенный бугай, разлёгся прямо в сапожищах и храпит себе.

Парнишка на цыпочках засеменял, тихонько. Скорик тоже, ещё тише.

Только бугай, не прерывая храпа, вдруг руку из-под одеяла высунул, а в ней дуло блестит, чёрное.

— Я это, Сало, я, — быстро сказал фартовый пацан.

Рука обратно опустилась, а рожу спящий так и не повернул.

В третьей комнате Сенька картуз сдёрнул, перекрестился — на стене целый иконостас висел, как в церкви. Тут и святые угодники, и Богородица, и Пресвятой Крест.

Напротив, у стены, положив на стол длинные ноги в блестящих штиблетах, сидел человек в очках, с длинными прямыми, как пакля, волосами. В пальцах вертел маленький острый ножик, не боле чайной ложки. Сам одет чисто, по-господски, даже при галстухе-ленточке. Никогда Скорик таких фартовых не видывал.

Провожатый сказал, пропуская Сеньку вперёд:

— Очко, оголец к тебе.

Скорик сердито покосился на обидчика. Врезать бы тебе за «огольца». Но тут человек по имени Очко сделал такое, что Сенька охнул: потрянул рукой, ножик серебряной искоркой блеснул через всю комнату и воткнулся прямо в глаз Пречистой Деве.

Только теперь Сенька рассмотрел, что у всех



святых на иконах глаза повыколоты, а у Спасителя на Кресте, там, где гвоздикам положено быть, такие же точно ножички торчат.

Очко вытянул из рукава ещё одно пёрышко, метнул в глаз Младенцу, что пребывал у Марии на руках. Лишь после этого повернул голову к обомлевшему Сеньке.

— Что, вам угодно, юноша?

Скорик подошёл, оглянулся на парнишку, который торчал в дверях, и тихонько, как было приказано, сказал:

— Смерть дожидается, мочи нет.

Сказал — и испугался. Ну как не поймёт? Спросит: «Чего это она дожидается?» А Сенька и знать не знает.

Но длинноволосый ничего такого спрашивать не стал, а вместо этого вежливо, негромко попросил паренька:

— Господин Килька, будьте любезны, сокройте свой лик за дверью.

Скорик-то понял, что это он велел пацану проваливать, а Килька этот, видно, не смикитил — как стоял, так и остался стоять.

Тогда Очко ка-ак пустит сокола из правого рукава, в смысле ножик — тот ка-ак хряснет в косяк, в вершке от Килькиного уха. Парнишку сразу будто ветром сдуло.

Очкастый внимательно посмотрел на Скорика.

Глаза под стёклышками были светлые, холодные, чисто две ледышки. Достал из кармана бумажный квадратик, протянул. И опять тихо так, вежливо:

— Держите, юноша. Передайте, загляну нынче часу в восьмом... Хотя постоит.

Повернулся к двери, позвал:

— Эй, господин Шестой, вы ещё здесь?

В щель снова Килька просунулся. Выходит, у него не одна кликуха, а две?

Шмыгнул носом, сторожко спросил:

— Пером кидаться не будешь?

Очко ответил непонятно:

— Я знаю, нежного Парни перо не в моде в наши дни. Когда у нас рандеву, то бишь стык с Упырём?

Килька-Шестой, однако, понял. Сказывали, в седьмом, говорит.

— Благодарю, — кивнул чудной человек. И Сеньке. — Нет, в восьмом не получится. Передайте, буду в девятом или даже в десятом.

И отвернулся, снова стал на иконостас глядеть. Скорик понял: разговору конец.

Обратно шёл через Хитровку, дворами, чтоб угол срезать. Думал: вот это люди! Ещё бы Князю с такими орлами не быть первым московским налётчиком. Казалось, чего бы только не дал, чтобы с ними на хазе посиживать, своим среди своих.

За Хитровским переулком, где по краям

площади дрыхли рядами подёнщики, Сенька встал под сухим тополем, развернул бумажный пакетик. Любопытно же, что там такого драгоценного, из-за чего Смерть готова была целый пятерик отвалить.

Белый порошок, навроде сахарина. Лизнул языком — сладковатый, но не сахарин, тот много слаще.

Засмотрелся, не видел, как Ташка подошла.

Сень, говорит, ты чего, марафетчиком заделался?

Тут только до Скорика допёрло. Ну конечно, это ж марафет, ясное дело. Оттого у Смерти и зрачки чернее ночи. Вон оно, выходит, что...

— Его не лизать надо, а в нос, нюхать, — объяснила Ташка.

По раннему времени она была не при параде и ненамазанная, с кошёлкой в руке — видно, в лавку ходила.

Зря ты, говорит, Сень. Все мозги пронюхаешь.

Но он все же взял щепотку, сунул в ноздрю, вдохнул что было мочи. Ну, пакость! Слезы из глаз потекли, обчихался весь и соплями потёк.

— Что, дурень, проверил? — наморщила нос Ташка. — Говорю, брось. Скажи лучше, это у меня что?

И себе на волосья показывает. А у неё на макушке воткнуты ромашка и ещё два цветочка, Сеньке не известных.

— Что-что, коровий лужок.

— Не лужок, а три послания. Майоран означает «ненавижу мужчин», ромашка «равнодушие», а серебрянка «сердечное расположение». Вот иду я с каким-нибудь клиентом, от которого тошно. Воткнула себе майоран, презрение ему показываю, а он, дубина, и знать не знает. Или с тобой вот сейчас стою, и в волосах серебрянка, потому что мы товарищи.

Она и вправду оставила в волосах одну серебрянку, чтоб Сенька порадовался.

— Ну а равнодушие тебе зачем? Ташка глазами блеснула, губы потресканные языком облизнула.

— А это влюбится в меня какой-нибудь ухажёр, станет конфеты дарить, бусы всякие. Я его гнать не стану, потому что он мне, может, нравится, но и гордость тоже соблюсти надо. Вот и прицеплю ромашку, пускай мучается...

— Какой ещё ухажёр? — фыркнул Сенька, заворачивая марафет, как было. Сунул в карман, а там брякнуло — бусы зеленые, что у китайца скрадены. Ну и, раз к слову пришлось, сказал:

— Хошь, я тебе безо всякого ухажерства бусы подарю?

Достал, помахал у Ташки перед носом. Она прямо Засветилась вся.

Ой, говорит, какие красивые! И цвет мой

самый любимый, «эсмеральда» называется! Правда подаришь?

— Да бери, не жалко.

Ну и отдал ей, невелика утрата — семьдесят копеек.

Ташка тут же бусы на шею натянула, Сеньку в щеку чмокнула и со всех ног домой — в зеркало смотреться. А Скорик тоже побежал, к Яузскому бульвару. Смерть, поди, заждалась.

Показал ей пакетик издали, да и в карман спрятал. Она говорит:

— Ты что? Давай скорей!

А у самой глаза на мокром месте и в голосе дрожание.

Он ей:

— Ага, щас. Ты чего обещала? Пиши Князю записку, чтоб взял меня в шайку.

Смерть к нему бросилась, хотела силой отобрать, но куда там — Сенька от неё вокруг стола побежал. Поиграли малость в догонялки, она взмолилась:

— Дай, кат, не мучай.

Скорик у неё жалко стало: вон она какая красивая, а тоже несчастная. Дался ей порошок этот поганый. И ещё подумалось — может, не станет Князь в важном деле бабу слушать, хоть бы даже и самую разобожаемую любовницу? Хотя нет, пацаны сказывали, что ей от Князя ни в чем

отказа нет, ни в большом, ни в малом.

Пока сомневался, отдавать марафет или нет, Смерть вдруг понурилась вся, за стол села, лоб подпёрла, устало так, и говорит:

— Да пропади ты пропадом, зверёныш. Всё одно подрастёшь — волчиной станешь.

Застонала тихонько, словно от боли. Потом взяла бумаги клочок, написала что-то карандашом, швырнула.

— На, подавись.

Он прочёл и не поверил своей удаче. На бумажке было размашисто написано:

*«Князь возьми мальчика в дело. Он такой как тебе нужно.*

*Смерть».*

## **Как Сенька себя проявил**

— Как мне нужно? Да на кой ты мне сдался?

Князь яростно потёр ямочку на подбородке, ожёг Сеньку своими чёрными глазищами — тот заежился, но тушеваться тут было нельзя.

— Она говорит: иди, Скорик, не сумлевайся, беспременно от тебя Князю польза будет, уж я-то знаю, так и сказала.

Старался глядеть на большого человека

истово, безбоязненно, а поджилки-то тряслись. За спиной у Сеньки вся шайка стояла: Очко, Килька-Шестой, двое с одинаковыми рожами и ещё один мордатый (надо думать, тот, что с левольвером дрых). Только калеки безногого не хватало.

Князь квартировал в номерах «Казань» в самом конце коридора, по которому Сеньку давеча водили. От комнаты с опоганенным иконостасом, где Очко свои ножички кидал, ещё малость пройти, за угол повернуть, и там горница со спальней. Спальню-то Скорик видал только через приоткрытую дверь (ну, спальня как спальня: кровать, цветным покрывалом прикрытая, на полу кистень валяется — шипастое стальное яблоко на цепке, а больше ничего не разглядишь), а вот горница у Князя была знатная. Во весь пол персидский ковёр, пушистый до невозможности, будто по моху лесному ступаешь; по-вдоль стен сундуки резные (ух, поди, в них добра-то!); на широченном столе в ряд бутылки казённой и коньяку, чарки серебряные, обгрызенный окорок и банка с солёными огурчиками. Князь в эту банку то и дело пятернёй залезал, вылавливал огурцы попуырители и хрустел — смачно, у Сеньки аж слюнки текли. Рожа у фартового была хоть и красивая, но немножко мятая, опухшая. Видно, сначала много пил, а потом долго спал.

Князь вытер руку о подол шёлковой, навыпуск, рубахи. Снова взял записку.

— Что она, одурела? Будто не знает, что у меня полна колода. Я — король, так?

Он загнул палец, а Очко сказал:

— У тебя скоро титулов, как у государя императора, будет. По имени ты Князь, по-деловому король, а скоро ещё и тузом станешь. Милостью Божией Туз Всемосковский, Король Хитровский, Князь Запьянцовский.

Про «запьянцовского» Сеньке шибко дерзко показалось, но Князю шутка понравилась — заржал. Остальные тоже погоготали. Сам-то Скорик не допёр, в чем потеха, но на всякий случай тоже улыбнулся.

— Когда стану туз, тогда другой балак пойдёт. — Князь бумажку на стол положил, принялся дальше перстнястые пальцы загибать. — Дамой у меня Смерть, так? Ты, Очко, — валет. Сало — десятка, Боцман — девятка, Авось — восьмёрка, Небось — семёрка. Огольца этого кроме как шестёркой не возьмёшь, так у меня и шестёрка имеется. А, Килька?

— Ну, — ответил давешний паренёк.

Теперь Сенька понял, о чем толкует Князь. Пацаны рассказывали, что у настоящих деловых, кто по законам живёт, шайка «колодой» называется, и в каждой колоде свой кумплект. Кумплект — это



восемь фартовых, каждый при своём положении. Главный — «король»; при нем маруха, по-деловому «дама»; потом «валет» — вроде как главный помощник; ну и прочие бойцы, от десятки до шестёрки. А больше восьми человек в шайке не держат, так уж исстари заведено.

Оглянулся на длинноволосого Очка с особенным почтением. Ишь ты, валет. Валет — он мало того, что правая рука у короля, он ещё в колоде обыкновенно по мокрому делу первый. Оттого, верно, и прозвание «валет», что людей валит.

— Вакансий не наличествует, — сказал Очко, как всегда, мудрено, но Скорик понял: свободных мест в шайке нету, вот он о чем.

Однако, странное дело, Князь недоростка в шею не гнал. Всё стоял, затылок чесал.

— Две шестёрки — что это за колода будет? Как на это Обчество скажет? — вздохнул Князь. — Ох, Смерть-Смертушка, что ты со мной делаешь...

И по этому его вздыханию дошло вдруг до Сеньки, что ворчать-то Князь ворчит, а Смерти послушаться робеет, хоть собою и герой. Ободрился Скорик, плечи расправил, стал на фартовых уже и вправду без опаски поглядывать: решайте, мол, сами эту закавыку, а моё дело маленькое. Со Смерти спрос.

— Ладно, — приговорил Князь. — Как тебя?

Скорик? Ты, Скорик, покрутись пока так, без масти. Там видно будет, куда тебя.

Сенька от счастья даже зажмурился. Пускай без масти, а всё равно он теперь настоящий фартовый, да не просто, а из самой что ни есть первой на всю Москву шайки! Ну Проха, ну Михейка, полопаются! А как доля от хабара пойдёт, можно будет Ташку в марухи взять, чтоб не валялась со всякими. Пускай сидит себе дома, подрастает, цветки свои раскладывает.

Князь махнул рукой на стол, все кроме Очка себе налили — кто водки, кто коньяку, стали пить. Сенька тоже коричневого пойла хлебнул, чтоб попробовать (дрянь оказалась, хуже самогонки). Хоть и голодный был, но ветчины не взял ни кусочка — надо себя было с самого начала правильно поставить: не голодаец какой-нибудь, а тоже с понятием пацан, не на помойке подобран. Держался в сторонке, с деликатностью, смотрел и слушал, в разговор не встревал, ни Боже мой. Да и деловые на него не смотрели, что им малолеток. Только Килька пару раз глянул. Один раз так просто, второй раз подмигнул. И на том спасибо.

А Князь стал двойняшам, которые семёрка с восьмёркой, про Смерть рассказывать.

«Вы, говорит, Авось с Небосем, у нас недавно, ещё не знаете, что это за баба. Видеть-то, конечно, видели, только этого мало. Вот я вам расскажу, как

её добывал, тогда поймёте. Когда прежний её хахаль, Яшка Костромской, каши свинцовой покушал и она свободная стала, начал я к ней подкатывать. Давно уж глаз на неё пялил, но при живом Яшке не насмаливался. Он от Общества в большом уважении состоял, а я что тогда был — гоп-стопник. Ни колоды, ни хазы хорошей, по-мокрому не хаживал, больших дел не делал. Тоже, конечно, на Хитровке не из последних был, но куда мне до Яши Костромского? Только думаю: всю землю зубами изгрызу, а эта краля моя будет. Первый раз тогда кассу ссудную взял, сторожа кистенём угостил. Заговорили обо мне, хрусты у меня завелись не копеечные. Стал слать ей подарки: золота, да фарфоров разных, да шелка японского. Она мне все обратно отсылает. Приду — гонит, даже говорить не желает.

Я терплю, понимаю — мелковат я пока для Смерти.

Ладно. Вагон почтовый подломил, тут уж двоих насмерть положил. Взял сорок тыщ.

Заявился к ней с хором цыганским, ночью. Псам из Мясницкого участка пятьсот рублей отвалил, чтоб не мешались. Под дверь коробку атласную поклат, в коробке брошь бриллиантовая, вот такущая.

И что? Цыгане с цыганками охрипли, подмётки все оттоптали, а она дверь не открыла,

даже в окно не выглянула.

Ну, думаю, какого тебе ещё рожна надо? Не денег, не подарков — это ясно. Тогда чего же?

Удумал с другого бока зайти. Знал, что Смерть ребятню жалеет. В Марьинский приют, что для хитровских сирот, деньги шлёт, одёжу, сласти всякие. Ей раз Яшка-конокрад сотню золотых импералов в корзине с фиалками поднёс, так она, полоумная, цветки себе оставила, а деньги приютским сёстрам отдала, чтоб баню выстроили.

Ага, прикидываю. Мытьём не взял, так катаньем достану.

Купил пуд шоколаду, самого что ни на есть швейцарского, три штуки голландского полотна на рубашки, ещё бязи на бельишко. Лично отвёз, передал матери Манефе. Натё, мол, от Князя сироткам в угощение».

Здесь мордатый, десятка, в Князев рассказ встрял, хмыкнул:

— Ага, знатно угостил, помним.

Князь на него шикнул.

«Ты, говорит, Сало, вперёд сказа не встречай. Ну что? Являюсь к Смерти этаким гоголем — посмотреть, не будет ли ко мне от неё какой перемены. Вот тогда она мне дверь открыла, только лучше б не открывала. Вышла, глаза сверкают. Чтоб духу твоего не было, кричит. Не моги ко мне близко подходить, и ещё по-всякому. В тычки за

порог вышибла, за мои-то старания... Сильно я тогда обиделся. Так запил — неделю будто в дыму был. И обидней всего мне, пьяному, вспоминалось, как я на свои кровные шоколад этот паскудный покупал и сукнецо в лавке щупал — хорошего ли сорта».

— Ну, сукнецо тебе, положим, задаром поднесли, — снова вставил Сало.

А Князь:

«Не в том дело. За старание своё обидно. Нет, думаю, шалишь. Негладко выходит. Хрен вам, а не полотно с шоколадом. Ночью перелез через приютский забор, окно высадил, дверь в кладовку ихнюю выбил и давай крушить. Шоколад весь на пол высыпал, ногами утоптал. Полотно пером чуть не в нитки покромсал — носите на здоровьице. Бязь всю порезал. И ещё покрушил, чего там у них было. Сторож на шум влез. Ты что, орёт, гад, делаешь, сирот бездолишь! Ну, я и его пером прямо в сердце щекотнул, так юшка мне на руку и брызнула... Иду из кладовки весь в кровище, нитки с меня свисают, рожа от шоколада чёрная, как у арапа. Навстречу сама мать Манефа, со свечкой. Ну, я и её — так уж, заодно. Все равно, думаю, душу свою погубил. И кляп с ней, с душой и с жизнью вечной. Без Смерти мне вовсе никакой жизни не надо...»

— Да, — кивнул Сало. — После на всю Москву шуму было. Хоть ты и пьяный был, а не

наследил и свидетельщиков не оставил. Со временем узнали, конечно, что это ты погулял, а доказать им нечем было.

Князь усмехнулся.

«Главное, что наши всё сразу прознали и Смерти донесли. Я как из приюта вернулся, два дня без просыпу дрых. А как в себя пришёл — дают мне записочку от неё, от Смерти *«Приходи, мой будешь»* — так и было написано. Вот она какая, Смерть. Поди, пойми её».

Сенька рассказ выслушал в оба уха, жадно, и потом голову ломал, как эту историю разъяснить, но так и не разъяснил.

В тот день, правда, долго голову ломать времени не было — столько всего приключилось.

После того как Князь свой приговор объявил про Сеньку и угостил колоду водкой-коньяком, Килька повёл новичка к себе (была у него недалеко от входа каморка за ситцевой занавесочкой).

Оказался душа-парень, без форсу, даром что сам с мастью, а Сенька вроде как с боку-припёку. Нос не драл, говорил попросту и много чего полезного порассказал, уже как своему, почти что затасованному.

Ничё, сказал, Скорик, раз сама Смерть за тебя попросила, будешь в колоде, никуда не денешься. Может, кого из наших посадят или пришьют — тогда тебя в шестые возьмут, а я до семёрки

поднимусь. Ты меня держись, не пропадёшь. И живи прямо тут. Вместе и храпеть веселей.

(Похрапеть-то им на пару так и не довелось, но об этом после.)

Про Князя и так всё было известно, про Смерть новенький тоже не меньше Килькиного знал, поэтому стал про остальных выспрашивать.

Валета нашего, сказал Килька, все боятся, даже Князь себя с ним опасно держит, потому как Очко припадочный. То есть так-то он тихий, спокойный, хоть и говорит всё время непонятно, стихами, но иногда попадёт вожжа под хвост, и тогда ужас какой страшный делается, прямо Сатана. Сам он из господ, раньше студентом был, но почиркал там кого-то до смерти по марафетному делу и получил каторгу-пожизненку. Ты от него подальше держись, посоветовал Килька. Князь может и в харю, и даже насмерть прибить, но хоть ясно, с чего и за что, а этот бешеный.

Следующий по колоде, Сало, оказался хохол, отсюда и кликалка. Нужный человек, большие знакомства среди иногородних сламщиков и перекупщиков имеет, весь хабар через него уходит и хрустом, то бишь денежками, возвращается.

Про безногого Боцмана, девятку, Килька рассказал, что он и вправду прежде был флотским боцманом, самым геройским героем на всем Чёрном море. Как начнёт про турку или морские

плаванья рассказывать — заслушаешься. Ему на корабле котлом паровым ноги отравило. Кресты у него, медали, пенсия геройская — шестнадцать целковых, но не тех кровей человек, чтоб тихо старость проживать. Ему куражу хочется, фарту да азарту. Он и доли из хабара своей никогда почти не берет, а у девятки доля немалая, не то что Килькина.

Седьмой с восьмым братья-близнецы с Якиманки. Лихие ребята. Их Князю знакомый городской из Первого Якиманского участка взять присоветовал. Сказал: страх до чего ребята отчаянные, жалко, если к большому делу не пристроятся, даром пропадут. А прозвали их Авось и Небось, потому что лихости в них больше, чем ума. Авось-то ещё куда ни шло, оттого старшим поставлен, а Небось совсем шепутной. Вели ему Князь орла двуглавого со Спасской башни своровать — полезет, не задумается.

А под конец Килька вздохнул, ладоши потёр и говорит:

— Ништо, сегодня на всех наших в деле посмотришь.

— В каком деле? — У Скорика сердце так и сжалось — надо же, в самый первый день сразу на дело идти! — Бомбить кого будем?

— Нет, бомбить что. Тут дело аховое. Стык нынче у Князя с Упырём.



Сенька припомнил, как Очко про этот самый стык уже спрашивал.

— А, это который в седьмом часу будет? И чего там? Это который Упырь, Котельнический?

— Он. На московского туза с Князем метать будут. Понял?

Сенька присвистнул. Вон оно что!

Туз — это у фартовых навроде царя-государя, один на всю Москву. Раньше тузом Кондрат Семеныч был, большущий человек, вся Москва его трепетала. Говорили, правда, про Кондрат Семеныча разное. Что старый стал, ржавый, молодым ходу не даёт. Кто и осуждал за то, что в богатстве проживает, и не на Хитровке, как тузу положено, а в собственном доме, на Яузе. И помер он не по-фартовому — от ножа, пули или в тюрьме. На пуховой перине дух испустил, будто купчина какой.

Выходит, Обчество приговорило тузом одному из двух быть: Князю или Упырю.

Про Князя ясно — орёл крылатый. Стрелой вверх взлетел, такие дела делает — залюбуешься. Одним нехорош: больно шустро шагает и строптив. Килька сказал, «деды» опасаются — не задурил бы от такой власти.

Другое дело Упырь. Он из давних, тихих, которые не летают, а по-белочки вверх карабкаются. Дел за Упырём громких не водится,

пальбы от его колоды не слышать, а боятся его не меньше, чем Князя.

Упырева колода не налётами промышляет, а делом новым, шума не терпящим: стрижёт лабазников и лавочников. Таких деловых «доильщиками» прозвали. Хочешь, чтоб лавка цела была, чтоб врач санитарный не цеплялся и псы не трогали — плати доильщику мзду и живи себе, торгуй. А кто не хотел платить, на себя надеялся или так, жадничал, с теми всякое случалось. Одного упрямого бакалейщика стукнули в тёмном переулочке сзади по башке, он и не видел кто. Упал, встать хочет, а не может — земля в глазах плавёт. Вдруг глядит — на него лошадь с телегой едет, в телеге камни грудой, чем улицу мостят. Он кричит, руками машет, а возница будто не слышит. Лошадь-то бакалейщика копытами переступила, а тележные колёса прямо по ногам ему проехали, переломали всего. Теперь того бакалейщика в кресле на колёсиках возят, и Упырю он платит исправно. А у другого, мороженщика, дочку-невесту так же вот подкараулили, мешок на голову натянули и испортили — да не один, а с полдюжины бугаев. Она теперь дома сидит, на улицу носа не кажет, и уже два раза из петли вынимали. А заплатил бы мороженщик, ничего бы с его дочкой не было.

Но и Упырь не всем «дедам» по сердцу,

объяснил Килька. Те, которые годами постарше и хорошо прежние времена помнят, не одобряют Упырева промысла. Раньше так кровососничать не заведено было.

Короче, на сегодня назначен стык, чтоб Князь с Упырём сами меж собой разобрались, кто кому дорогу уступит.

— Так порешат они друг друга! — ахнул Сенька. — Порежут, постреляют.

— Нельзя, закон запрещает. Ребра поломают или башку кому пробьют, но не боле того. С оружием на стык идти нельзя, Обчество этого не позволяет.

В пятом часу пришли посредники от Обчества, два спокойных, медлительных «деда» из уважаемых воров. Назвали место для стыка — Коровий луг в Лужниках — и время: ровно в семь. Ещё сказали, Упырь желает знать, всей ли ему колодой приезжать или как.

«Дедов» посадили в передней комнате чай пить, ответа ждать, а сами столпились у Князя вокруг стола. Даже Боцман с улицы прикатил, боялся, обойдут его.

Небось первый крикнул:

— Все пойдём! Навалием упырятам, будут помнить. Князь на него шикнул:

— Ты думай, башка, потом говори. У нас дама есть? Нету. Смерть же с нами на Коровий луг

махаться не поедет?

Все поулыбались шутке, стали ждать, чего Князь дальше скажет.

— А у Упыря дамой — Манька Рябая. Она в прошлый год двух легавых лбами стукнула так, что не встали, — продолжил Князь, полируя щёткой ногти. Он сидел нога на ногу, слова ронял неспешно — наверно, уже видел себя тузом.

— Знаем Маньку, женщина основательная, — подтвердил Боцман.

— Та-ак. Дальше смотрите. Вот ты, Боцман, не в обиду сказать, калека. Какой от тебя на стыке прок?

Боцман запрыгал на своих обрубках, заволновался:

— Да я... Вон колотушкой как приложу — всякий напополам согнётся. Князь, ты ж меня знаешь!

— Колотушкой, — передразнил Князь, откусывая заусенец. — А у Упыря девяткой Вася Угрешский. Много ты против него своей колотушкой намахаешь? То-то.

Боцман закручинился, захлюпал.

— Теперь шестёрку взять, — кивнул на Кильку старшой. Тот вскинулся:

— А чё я-то?

— А то. У них шестёркой Дубина. Он кулачищем гвоздь четырехвершковый в бревно

забивает, а тебя, Килька, соплей перешибёшь. И что у нас, господа фартовые, выходит? А то выходит, что ихняя колода на стыке забьёт нашу как Бог свят. А после скажут, что Князь при всей колоде был, не станут разбирать, кто там малый, кто убогий, а кого вовсе не было. Скажут-скажут, — повторил Князь в ответ на глухой ропот.

Тихо стало в комнате, скушно.

Сенька в самом уголке сидел, боялся — не погнажи бы. Что на стык не возьмут, его не сильно печалило. Не большой он был любитель кулаками махать, да ещё против настоящих бойцов. Порвут недоростка и в землю утопчут.

Князь на ногти полюбовался, ещё один заусенец откусил-выплюнул.

— Зовите «дедов». Я решаю. И молчок мне, не вянь-кать.

Килька сбегал за посредниками. Те вошли, встали у порога. Князь тоже поднялся.

— На стык вдвоём идти, такое моё мнение. — Посмотрел весело, чубом тряхнул. — Королю и ещё одному, кого король выберет. Так Упырю и передайте.

Очко на эти слова зевнул, прочие насупились. Но ни слова сказано не было — видно, перед чужими собачиться нельзя, подумал Сенька.

Но и когда «деды» ушли, лаю не было. Раз Князь решил, значит всё.

Килька Сеньке мигнул: выдь-ка.

В коидоре зашептал, шмыгая носом:

— Я то место хорошо знаю. Там сарайчик есть, сховаться можно. Айда засядем!

— А если увидят?

— На ножи поставят, как пить дать, — беззаботно махнул Килька. — У нас с этим строго. Да не пузырься, не увидят. Говорю, сарайчик важнейший. В сено зароемся, никто не допрёт, а нам всё-будет видать.

Сеньке боязно стало, замялся. А Килька сплюнул на пол и говорит:

— Гляди, Скорик, как хочешь. А я побегу. Пока они телятся, поспею раньше.

Пошёл с ним, конечно, Сенька — куда деваться. Не девка ведь трусить. Да и посмотреть хотелось: шутка ли — настоящий фартовый стык, где решится, кому на Москве тузом быть. Многие ль такое видали?

Бегать, конечно, не пришлось — это Килька так, к слову сказал. Денег у него, фартового, были полные карманы. Вышли на Покровку, подрядили лихача, покатали в Лужники, за город. Килька извозчику ещё рупь сверху посулил, чтоб гнал с ветерком. За двадцать три минуты по набережной докатали — Килька по своим серебряным часам считал.

Коровий луг был луг как луг: жёлтая трава,

лопухи. С одной стороны, за речкой, торчали Воробьёвы горы, с другой Новодевичий монастырь с огородами.

— Вот здесь стыкнутся, больше нигде, — показал Килька на истоптанную плешку, где сходились четыре тропинки. — В траву не полезут, там сплошь лепёхи коровьи, штиблеты угваздаешь. А сарайчик — он вон он.

Сарайчик был дрянь, чихни — развалится. Поставленный когда-то для сенных надобностей, он, видно, достаивал последнее. До плешки от него было рукой подать — может, шагов десять или пятнадцать.

Залезли по лесенке на чердак, где старое, ещё прошлогоднее сено. Залегли. Лесенку за собой утянули, чтоб не догадался никто, проверять не сунулся.

Килька опять на часы свои поглядел, говорит:

— Три с половиной минуты шестого. Два часа ещё почти. В секу пошлёпаем, из полтинничка?

И потянул колоду из кармана. У Сеньки от страха руки-ноги холодные и по спине мураши, а этому, вишь, в картишки!

— Денег нету.

— На щелбаны можно. Только простые, без выверта, у меня башка не сильно крепкая.

Только роздали — голоса. Сзади, со стороны железки кто-то подошёл.

Килька к щели сунулся и шёпотом:

— Эй, Скорик, гликошь!

Посмотрел и Сенька.

В обход сарая шли трое, по виду фартовые, но Сеньке на личность незнакомые. Один высоченный, плечистый, с маленькой стриженной головой; другой в картузе, сдвинутом на самые глаза, но все равно даже сверху видно было, что у него проваленный нос; третий — маленького росточка, с длинными руками, в застёгнутом пиджаке.

— Ах, гад, — в самое ухо выдохнул Килька. — Что удумал. Ну беспардонщик!

Мужики зашли в сарай, так что дальше пришлось подглядывать через щелястый потолок. Все трое легли на землю, сверху прикрылись сеном.

— Кто беспардонщик? — тихо спросил Сенька. — Это кто такие?

— Упырь беспардонщик, гнида. Это евоные бойцы, из его колоды. Здоровый — Дубина, шестёрка. Безносый — Клюв, восьмёркой у них. А маленький — Ёшка, валет. Ай, беда. Кончать наших будут.

— Почему кончать? — напугался Скорик.

— Ёшка на махаловку негож, в нем силы нет, зато из левольверта содит без промаху. В цирке раньше работал, свечи пулями гасил. Если Ёшку взяли, значит, пальба будет. А наши-то пустые, без железа придут. И не упредишь никак...



От этого известия у Сеньки зубы застучали.

— Чё делать-то?

Килька тоже весь белый стал.

— Кляп его знает...

Так и сидели, тряслись. Время тянулось медленно, будто навовсе остановилось.

Внизу тихо было. Только раз спичка чиркнула, дымком табачным потянуло, и сразу шикнул кто-то: «Ты чё, Дубина, урод, запалить нас хочешь? Пристрелю!»

И опять тишина.

Потом, когда до семи часов уже совсем мало оставалось, щёлкнуло железным.

Килька пальцами показал: курок взвели.

Ай, худо!

Две пролётки подкатили к плешке одновременно, с двух разных сторон.

В одной, шикарной, красного лака, на козлах сидел Очко — в шляпе, песочной тройке, с тросточкой. Князь с папирской — на кожаном сидале, развалясь. И тоже щёголем: лазоревая рубаха, алый поясок.

Во второй коляске, попроще первой, но тоже справной, на козлах сидела баба. Ручищи — будто окорока, башка туго замотана цветастым платком, из-под которого выпирали толстые красные щеки. Спереди, под кофтой, будто две тыквы засунуты — никогда Сенька такого грудяного богатства не

видал. Упырь тоже, как Князь, сзади был. Мужичонка так себе: жилистый, лысоватый, глаз узкий, змеиный, волоса жирные, сосульками. По виду не орёл, куда ему до Князя.

Сошлись посреди плешки, ручкаться не стали. Князь с Упырём покурили, друг на дружку поглядывая. Очко и бабища чуть назади стояли — надо думать, порядок такой.

— Шумнем? А, Сень? — спросил Килька шёпотом.

— А если Упырь своих в сарай так посадил, на всякий случай? В опасении, что Князь забеспардонит? Тогда нас с тобой в ножи?

Очень уж Сеньке страшно показалось — шуметь. А как начнёт Ёшка этот сажать пулями через потолок?

Килька шепчет:

— Кто его знает... Ладно, поглядим.

Те, на полянке, докурили, папиросы побросали.

Первым Князь заговорил.

— Почему не с валетом пришёл?

— У Ёшки хворь зубная, всю щеку разнесло. Да и на кой мне валет? Я тебя, Князь, не боюсь. Это ты меня пужаешься, Очка прихватил. А я вот с Манькой. Хватит с тебя и бабы.

Манька зареготала густым басом — смешно ей показалось.

Князь и Очко переглянулись. Сенька видел, как Очко пальцами по тросточке забарабанил. Может, догадались, что дело нечисто?

Нет, не догадались.

— С бабой так с бабой, дело твоё. — Князь подбоченился. — Тебе только бабами и верховодить. Стану тузом, дозволю тебе мамзельками на Хитровке заправлять, так и быть. В самый раз по тебе промысел будет.

Обидеть хотел, однако Упырь не вскинулся, только заулыбался, захрустел длинными пальцами:

— Ты, Князь, конечно, налётчик видный, на росте, но молодой ещё. Куда тебе в тузы? Своей колодой обзавёлся безгону неделя. Да и рисковый больно. Вон вся псарня тебя ищет, а у меня тишь да гладь. Отступись добром.

Слова вроде мирные, а голос глумной — видно, что нарочно придушивается, хочет, чтоб Князь первым сорвался.

Князь ему:

— Я орлом летаю, а ты шакалишь, падаль жрёшь! Хорош балаку гонять! Нам двоим на Москве тесно! Или под меня ложись, или... — И пальцем себе по горлу — чирк.

Упырь облизнул губы, голову набок склонил и неторопливо так, даже ласково:

— Что «или», Князёк? Или под тебя ложиться, или смерть? А ежели она, Смерть твоя, уже сама

под меня легла? Девка она ладная, рассыпчатая. Мягко на ней, пружинисто, как на утячей перине...

Манька снова заржала, а Князь весь багровый стал — понял, о ком речь. Добился-таки своего хитрый Упырь, взбеленил врага.

Князь голову набычил, по-волчьи зарычал — и на оскорбителя.

Но у тех двоих, видно, меж собой уговор был. Упырь влево скакнул, баба вправо — и как свистнет в два пальца.

Внизу зашуршало сено, грохнула дверь, и из сарая вылетел Ёшка, пока что один. В руке держал дыну — чёрную, с длинным дулом.

— А ну стоять! — орёт. — Сюда смотреть! Вы меня, ёшкин корень, знаете, я промаху не даю.

Князь на месте застыл.

— Ах, ты, Упырь, так? — говорит. — По-беспардонному?

— Так, Князюшка, так. Я же умный, умным законы не писаны. А ну-ка лягайте оба наземь. Лягайте, не то Ёшка вас стрелит.

Князь зубы оскалил — вроде смешно ему.

— Не умный ты, Упырь, а дурак. Куда ты против Обчества? Кердец тебе теперь. Мне и делать ничего не надо, всё за меня «деды» сделают. Ляжем, Очко, отдохнём. Упырь сам себя приговорил.

И улёгся на спину. Ногу на ногу закинул,

папироску достал.

Очко посмотрел на него, носком штиблета по земле поводил — знать, костюма жалко стало — и тоже на бок лёг, голову подпёр. Тросточку положил рядом.

— Ну, дальше что? — спрашивает. И Ёшке. — Стреляй, мой маленький зуав. Знаешь, что наши традиционалисты с беспардонщиками делают? За эту шалость тебя под землёй отыщут, и обратно под землю загонят.

Чудной какой-то стык выходил. Двое лежат, улыбаются, трое стоят, смотрят на них.

Килька шепнул:

— Не насмелятся палить. За это живьём в землю, такой закон.

Тут Упырева маруха снова свистнула. Из сарая выскочили остальные двое и как прыгнут сверху на лежащих: Дубина тушей своей на Князя навалился, Клюв Очка рожей вниз развернул и руки заломил, ловко.

— Ну вот, Князёк, — засмеялся Упырь. — Сейчас тебе Дубина кулачиной мозгу вышибет. А Клюв валету твоему ребра продавит. И никто про пушку знать не узнает. Так-то. Обчеству скажем, что мы вас поломали. Не сдюжили вы против Упыря и евоной бабы. А ну, братва, круши их!

— А-а-а! — раздалось вдруг возле самого Сенькино-го уха.

Килька пихнулся локтем, на коленки привстал и с воплем сиганул прямо Ёшке на плечи. Удержать не удержался, наземь слетел, и Ёшка его смаху рукояткой в висок припечатал, но и этой малой минутки, когда Дубина с Клювом на шум морды повертели, было довольно, чтоб Князь и Очко врагов скинули и на ноги повскакивали.

— Я шмаляю, Упырь! — крикнул Ёшка. — Не вышло по-твоему! После пули повыковыриваем! Авось сойдёт!

И тут Сенька сам себя удивил. Завизжал ещё громче Килькиного — и Ёшке на спину. Повис насмерть, да зубами вгрызся в ухо — во рту засолонело.

Ёшка вертится, хочет пацана скинуть, а никак. Сенька мычит, зубами ухо рвёт.

Долго, конечно, не продержался бы, но здесь Очко с земли трость подхватил, потрянул ею, и деревяшка в сторону отлетела, а в руке у валета блеснуло длинное, стальное.

Скакнул Очко к Ёшке, одну ногу согнул, другую вытянул, как пружина распрямился и сам весь сделался длинный, будто вытянувшаяся змеюка. Достал Ёшку своей железкой прямо в сердце, и тот сразу руками махать перестал, повалился, подмяв Сеньку. Тот выбрался из-под упавшего, стал глядеть, чего дальше будет.

Успел увидеть, как Князь, вырвавшись из

Дубининых лап, с разбегу Маньке лбом в подбородок въехал — бабища на зад села, посидела немножко и запрокинулась. А Князь уже Упырю в глотку вцепился, покатались с утоптанной тропинки в траву и там бешено закачались сухие стебли.

Дубина хотел своему королю на выручку кинуться, но Очко к нему сзади подлетел: левая рука за спину заложена, в правой аршинное перо — вжик, вжик по воздуху. И со стали капли красные капают.

— Не уходи, — приговаривает, — побудь со мною. Я так давно тебя люблю. Тебя я лаской огневою и утолю, и утомлю.

Этот стих Сенька знал — он из песни одной, жалостной.

Дубина повернулся к Очку, глазами захолопал, попятился. Клюв — тот пошустрее был, сразу в сторонку отбежал. А Князь с Упырём обратно на плешку выкатились, только теперь уже видно было, чей верх. Князь вражину подломил, за харю пятернёй ухватил и давай башкой об землю колотить.

Тот хрипит:

— Будет, будет. Твоя взяла! Сявка я!

Это слово такое, особенное. Кто на стыке про себя так сказал, того больше бить нельзя. Закон не велит.

Князь для порядка ему ещё вдарил пару раз кулаком, или, может, не пару, а больше — Скорик не досмотрел. Он сидел на корточках возле Кильки и глядел, как у того из чёрной дыры на виске вытекает багровая жижа. Килька вовсе мёртвый был — проломил ему Ёшка голову своей дрыной.

Потом целых четыре дня «деды» решали, считать ли такой стык козырным. Постановили: не считать. Упырь, конечно, сбеспардонничал, но и у Князя негладко: валет с железом пришёл, опять же двое пацанов в схроне сидели. Неож пока Князь в тузы, такой был приговор. Пускай Москва пока без воровского царя поживёт.

Князь злой ходил, пил без продыху, грозился Упыря под землю укатать. Того не видно было, отлёживался где-то после Князева угощения.

Шуму, звону, разговоров о лужниковском стыке было на всю Хитровку.

Для Сеньки Скорика настали, можно сказать, золотые денёчки.

Он теперь при Князе шестёркой состоял, как есть на полном законном положении. От колоды за доблесть было ему знатное довольствие и полное уважение, а уж про пацанов хитровских и говорить нечего.

Сенька туда раза по три на дню заглядывал, будто бы по важной секретной надобности, а на самом деле просто покрасоваться. Вся Килькина



оде́жа к нему перешла: и портки английского сукна, со складочкой, и сапожки хром, и тужурочка-буланже, и капитанка с лаковым козырьком, и серебряные часы на цепке с серебряной же черепушкой. Пацаны со всей округи сбегались с героем поручкаться или хоть издали поглазеть, послушать, чего расскажет.

Проха, который раньше уму-разуму учил и нос перед Сенькой драл, теперь в глаза заглядывал и тихонько, чтоб другие не слышали, просил пристроить его куда-нибудь шестёркой, пускай в самую лядащую колоду. Скорик слушал снисходительно, обещал подумать.

Эх, хорошо было.

Деньжонок в карманах пока, правда, не завелось — но это, надо думать, до первого форта.

А скоро подоспело и оно, настоящее фартовое дело.

## **Как Сенька побывал на настоящем деле**

Была Князю наводка от верного человека, полового из купеческой гостиницы «Славянская» что на Бережках. Будто бы приехали из города Хвалынска богатый калмык-барышник с приказчиком, племенных жеребцов для табуна покупать. Хрустов при том калмыке полная мошна,

а братъ его надо немедля, потому назавтра, в воскресенье, поедет он на конный торг и может там все деньги потратить.

Вечером, поздно, сели всей колодой в три пролётки, поехали. Впереди Князь с Очком, потом Сало с близнецами, последними — Боцман с Сенькой. Их работа — стрёму держать и за лошадьми доглядывать, чтоб, если шухер, могли с места вскачь запустить.

Пока летели через Красную Площадь, да по Воздвиженке, да Арбатом, у Скорика в животе крепко ёкало, хоть до ветру беги. А после, как по мосту загрохотали, страх вдруг из противного стал весёлым, как в детстве, когда отец маленького Сеньку в первый раз на масленичное гуляние вёз, с деревянных гор кататься.

Боцман, тот с самого выезда радостный был, всё балагурил. Эх, говорил, Кострома, нынче будет кутерьма. И ещё: эх, Полтава, заходи справа. Или так: эх, Самара, поддай навару.

Он много всяких городов знал, про иные Сенька и не слыхивал.

Гостиница была скучная, навроде барака. Огни в десятом часу уже потушены — торговый люд рано ложится, да и базарный день завтра.

Проехали к железнодорожным складам, соскочили. Без слов обходились, молча — всё заранее обговорено было.

Сенька поводья принял, свёл три пролётки рядом, обод к ободу, в центре Боцманова упряжка. Ему, Боцману, все три повода дал. У него лошади не забалуют — они умные. Когда чуют силу, смиренно стоят. А кони у Князя были особенные — не догонишь, чудо что за кони.

Боцман, значит, на козлах сидит, люльку курит, а Сеньке не вмоготу: то с одной стороны пройдётся, то с другой. Уж и не страшно было совсем — томно и обидно. Вроде как лишний он.

Сбежал к одному углу, к другому — поглядеть, нет ли какого шухера.

Пусто было вокруг, тихо.

— Дяденька Боцман, чего ж они так долго? Боцман шестёрку пожалел.

— Ладно, — говорит. — Чего тебе молодому, здоровому тут париться. Сбегай, погляди, как фартовые дела делаются. Погляди и давай обратно, мне расскажешь, как калмыков кончают.

Сенька удивился:

— А просто деньги отобрать нельзя? Беспременно кончать полагается?

— Это смотря сколько, — объяснил Боцман. — Если хросту не так много, счёт на сотни, то можно и не кончать, псы сильно искать не станут. А если там тыщи, то тогда лучше тушить. Купчина за свои тыщи псам большую награду посулит, чтоб землю носом рыли. Да ты беги,

Скорик, не сумлевайся. Я тута и один справлюсь: Эх, сам бы сгонял, кабы ноги были.

Сеньку долго упрашивать не надо было. Так застоялся, что даже в ворота не пошёл — прямо через ограду запустил.

Вошёл в просторные сени, видит: прямо на стойке, ойкая от страха, лежит человек в поддёвке. Голову закрыл руками, и плечи у него трясутся. Рядом, зевая — Сало, со скрипкой в руке (это левольверт так по-фартовому называется: скрипка, дрына или ещё волына).

Этот, что на стойке, попросил жалостно:

— Не убивайте, господа налётчики. Я на вас не глядел, зажмурился сразу. А? Сделайте такое снисхождение, не лишайте жизни. Я человек семейный, православной веры. А?

Сало ему лениво:

— Не бось. Дрыгаться не будешь — пожалеем. — А Сеньке сказал. — Интересуешься? Ну сходи, побачь. Чего-то долго они.

Потом коридор был, длинный. По обе стороны двери в ряд. В ближнем конце Авось стоял, в дальнем Небось (или наоборот, Сенька ещё плохо умел братьев различать). Тоже со скрипками.

— Я поглядеть, — сказал Скорик. — Одним глазочком.

— Валяй, гляди, — белозубо улыбнулся Авось (а может, Небось).

Тут одна из дверей стала открываться. Он её ногой захлопнул и как гаркнет:

— Я те вылезу!

Из-за двери заголосили:

— Кто это там фулиганничает? Мне до клозету требуется!

Авось заржал:

— В портки пруди. А шуметь будешь — через дверь пальну.

— Господи снятый, — ахнули за дверью. — Никак налёт. Я ничего, ребята, я тихонечко. И засов скрежетнул.

Авось снова загыгыкал (все-таки это, наверно, Небось был — у того вечно рот до ушей). Показал Сеньке левольвертом на приоткрытую дверь посреди коридора — там, мол.

Скорик подошёл, заглянул внутрь.

Увидел двоих смуглых, узкоглазых, к стульям привязанных. Один был сильно старый, лет пятьдесят, с козлиной бородёнкой, в хороших клетчатых штанах, в шёлковой жилетке с золотой цепкой из кармашка. Надо думать, барышник. Другой молодой, без бороды и усов, в ситцевой рубахе навывпуск — не иначе приказчик.

Князь похаживал между связанными, помахивал кистенём.

Сенька пошире дверь открыл — а где Очко?

Тот чудным делом занимался: пером своим, из